



## СТРАШНЫЙ СУД

(КОММЕНТАРИИ К ТЕМЕ)

Аршалуйс Гукасян хорошо помнила густые сады на том самом месте, где сегодня перекрещиваются проспекты Ленина и Саят-Новы. Здесь была городская окраина. Девчонкой она со своими сверстниками облазила весь Ереван и хорошо усвоила наказ родителей: за городскую черту не выходить. Аршалуйс родилась в год, когда начали строить площадь Ленина. И с детства сам, так сказать, процесс строительства, а еще точнее, градостроительства ее глаза воспринимали, как нечто само собой разумеющееся. Дом, в котором впоследствии жила семья Аршалуйс, построили после ее рождения. Школу, которую она окончила с отличием, тоже построили после ее рождения. И университет, в котором она училась, и редакцию, в которой она и сейчас работает. Стоял город более двух тысяч семисот лет и продолжал строиться на глазах у Аршалуйс Гукасян, которая самый свой известный очерк написала о Ереване. Назвала его «Городская черта». В очерке она рассказывала о том, что, когда в двадцатых годах великий армянский зодчий Александр Таманян составил генеральный план строительства Еревана, его называли фантастом. Мыслимо ли: тридцатитысячный город и вдруг самые ближайшие наметки — четверть миллиона! Ни одна из двенадцати столиц исторической Армении не могла похвастаться подобными цифрами. Вот и не верилось. Мол, фантастика и только. Однако реальность, как показала сама жизнь, внесла свои коррективы в фантазию гения. На горизонте уже высвечивалась новая цифра. Миллион. И все же не о невероятных цифрах и не о неумной фантазии зодчего писала Аршалуйс. Об этом ведь многие писали. У нее была другая задача, вернее, другая сверхзадача. В те годы много спорили о лике столицы. Редакции и, конечно, высокие инстанции получали прорву писем с предложениями сохранить как можно больше старинных домов. А то получается: город старше самого Рима, самого Вечного города — и не может похвастаться стариной. А чудом сохранившиеся строения, что называется, под-

падают под план и тают на глазах, как мороженое на солнце. Надо сохранить торговый ряд, который проходит от площади Шаумяна до улицы Кармир Банаки. Надо сохранить целый район, издревле называемый Кондом. Правда, это одноэтажные хибарки с кривыми стенами, но зато — старина. В письмах ереванцы страстно боролись за каждый домик, проулок, садик. И письма эти хорошо были знакомы Аршалуйс Гукасян. Она встречалась с их авторами, подолгу беседовала с архитекторами, мнения которых сильно расходились. Готовилась к своему очерку, как к диссертации. Как к самому главному экзамену. И в процессе работы не раз ловила себя на мысли, что всю свою жизнь, чуть ли не с самого детства, готовилась к этому экзамену. Сносить все, что не имеет культурной и исторической ценности! Долой ложную ностальгию по кривобоким конурам! Есть у Еревана свое гордое прошлое. Это — Эребуни, где сохранились крепостные стены и каменный паспорт, выданный городу царем Аргишти: «Бога Халди величием Аргишти, сын Менуа, эту мощную крепость построил, установил для нее имя Эребуни...» Есть базальтовая метрика на холме Арин-Берд. По всей Армении сохранились уникальные творения древних зодчих. В сокровищницу мировой культуры вошли великолепные храмы Ахпат и Санаин, Эчмиадзин и Гандзасар и сотни других шедевров. Человеческая цивилизация гордится творениями армянских каменотесов, которые оживляли мертвые скалы, превращая их в неповторимые хачкары, напоминающие искусную вышивку по шелку. И вдруг — кривобокие конуры. Каждому ведь известно, что приземистые лачуги, иногда даже возведенные не из камня, а из самана, армяне строили как временки. Слишком участились набеги вандалов, и хорошей приманкой были добротные дома с цветущими садами. Вот и росли в древнем Ереване то там, то тут массивы из лачуг. И названия зачастую им давали сами враги. Чаще всего их называли одним словом «геджеконду», что в переводе с тюркского означает «жилище, построенное за ночь». Как же можно оставлять, так сказать, на память, такие вот жилища, лачуги, «построенные за ночь»? Как вообще можно оставлять в памяти народной это самое слово «конд»? В памяти народа, который на протяжении веков воздвигнул более десяти тысяч храмов. Автор очерка предлагала снести с лица земли все, что связано с вандалами. Предлагала изгнать из памяти народа-созидателя унижающие достоинство слова «геджеконд» или «конд». Упрекала тех, кто, забыв старинные названия городов и сел, рек,

гор, вслед за завоевателями повторил новые, измененные варварами имена. Приводила множество примеров.

Со времен Тиграна Великого высокогорное озеро в Армянском Нагорье называлось Сиунна. Затем по названию соседних гор — Гегамское море. Через тысячи лет на острове соорудили храм из черного туфа. Прозвали его Сев ванк, что в переводе с армянского означает Черный храм. Сев ванк — Севан. Через столетия завоеватели называют его Гокча — с тюркского «Голубая вода». Естественно, что сразу же, как прогнали пришельцев, озеро получило свое подлинное имя. И никто вроде не спорит. Но вот находятся еще «ученые», которые пишут: «Раньше озеро называлось Гокча...» Вчерашний день именуют «раньше», а про позавчерашний забывают. Собственно, что там «вчера» и «позавчера». Кое-кто пытается переименовать сегодня даже Арарат. Полагают, наверное, что, когда сегодняшний день станет вчерашним, легко приживется новое название. Это ведь очень важно. Завоевав чужую землю, мало физически уничтожить аборигенов. Надо еще узаконить завоевание. Переименовать Константинополь в Стамбул, Севан — в Гокчу, Капутан — в Гокгел, и, глядишь, следующее поколение воспримет их как должное. Такой хитростью враг пользовался всегда, хорошо, по-видимому, зная, что местные жители не очень-то придадут значение этим «изменениям». Мало того, они, не выказывая протеста, вскоре сами легко воспринимают новое название, как закон. Восемьсот лет село носило имя Ванк. Взяли и прибавили окончание «лу» — ведь карты печатают завоеватели. Так получилось Ванклу. Вроде бы ничего особенного: прибавлен к древнему названию всего лишь какой-то нелепый слог. Но хитрость, конечно, великая. Примерно, как если Пермь именовать Пермштадт, а Рязань — Рязанкент. И что ж, глупые и добрые жители Ванка вскоре действительно привыкли к несуразному окончанию. Но если бы речь шла только о наивных сельчанах. Уважаемый ученый в своей очень ценной книге об армянских преданиях рассказывает о правнуче прародителя армян Гайка, который поселился «на плодородной равнине между Карсчаем и Арпачаем». Поистине — святотатство. Речь идет о преданиях трехтысячелетней давности. Упоминаются армянские реки Карс и Арпа, но почему-то на турецкий лад, с окончанием «чай». И это когда завоеватели вступили на армянскую землю спустя тридцать веков после эпохи Гайка!

Ратуя за ликвидацию лачуг, Аршалуйс прошла в очерке по архитекторам и строителям, которые возводят в черте древнего Эребуни серые однотипные коробки.

Имя Аршалуйс и до этого было известно читателям, но после очерка «Городская черта» она стала популярной, как футбольный форвард. Особым успехом она пользовалась среди архитекторов и строителей, которые без конца несли журналисту ворохи своих вечных проблем и болячек. Приходили к ней не только архитекторы и строители, но и читатели по самым разным вопросам. Сначала, как правило, говорили, что читают ее всегда и с охотой. Если в газете встречаются ее имя, то непременно прочтут, о чем бы она ни писала. А писала она не только об архитектуре, но и о своих современниках, об их боли. Считала, что публицист, подобно поэту, имеет право все перепахать и пропустить через свое «я». Однако хорошо помнила: не каждый поэт имеет моральное право сказать: «Я — где боль».

Уже изданы сборники очерков и рассказов. О ее сильных и мужественных героях писали критики. Упрекали, что она слишком много времени и сил отводит журналистике в ущерб художественной литературе. При ней всегда возникали разговоры и споры о публицистике. Мол, литература ли публицистика? Те, кто хотел ее подзадеть, непременно подчеркивали, что между литературой и публицистикой такая же разница, как между шахматами и шашками. Другие заверяли, что все великие художники — прежде всего публицисты. Кто-то из ее почитателей принес в редакцию выписанные от руки слова Юрия Олеши, который утверждал, что ценность и значение современной литературы зависит от наличия в ней журналистской природы. Хемингуэй и многие другие крупные современные писатели — журналисты. Интерес к технике, к политике, к дипломатии — интерес к тем областям жизни, которые обычно привлекают журналистов, — в наши дни создает большую литературу. От журналистского желания увидеть и объяснить рождается передовая, современная, нашего века, нашей эпохи литература. Сама Аршалуйс не принимала никаких жанровых разграничений. Она, по собственному выражению, делала лишь то, что у нее хорошо получалось. Писала. Трудилась. Преодолевала в себе равнодушие и трусость. Добивалась права быть там, «где боль». Равнодушный и трусливый человек не может разделить беду другого человека. Равнодушный — всегда трусливый. А трусливый всегда жестокий. В одном из очерков Аршалуйс писала, что трусость и жестокость — это две «добродетели», которые всегда идут вместе, рядом, взаимодействуя и дополняя друг друга. Все монархи походили друг на друга некоей общностью — трусостью и жестокостью. Человек

должен изо дня в день делать себя, творить и создавать себя по принципу работы холодильника, который не холод «творит», а «изгоняет» тепло. Холод, оказывается, создавать нельзя. Он есть всегда. В глубинах космоса, собственно, кроме холода ничего и нет. Он уже создан раз и навсегда. Тепло же привнесено. Не добро надо прививать, не доброту привносить, а изгонять зло, трусость.

Жестокость на земле — от трусости. Тому примеров тьма. С жестокостью трудно бороться. Она сама активна. С ней надо бороться, когда она еще не вылупилась из яйца трусости. С ней трудно бороться с помощью так называемой большой литературы, с помощью романов, которые пишутся и выходят в свет обычно с опозданием. А иногда и не пишутся, потому что жестокость успела казнить будущего автора будущего романа.

Аршалуйс много читала о средствах борьбы с социальным злом, которое порождает социальное зло. И среди них, как сама понимала, публицистика является самым, пожалуй, действенным и ощутимым. Дело даже не в том, что современная литература лишена определенной ценности без наличия в ней «журналистской природы». Дело в самой конкретной борьбе, которая приобретает реальные формы. Непревзойденный мастер художественной публицистики Франсуа Мориак, которого Аршалуйс назвала великим французом, публично заявил, что публицистическое выступление не менее значимо, чем роман. Суть не в средствах выражения: так или иначе, все они призваны передать то, что творцу нужно сказать. Мориак писал, что никогда не понимал коллег, которые берегут для прессы свои литературные «отходы». Слово, вышедшее из-под пера, подобно мазку, по которому нетрудно узнать художника. Нет просто журналиста или просто поэта, есть человек, который стремится к самовыражению или прячется под маской, говорит прямо или раскрывается вопреки своему желанию, словом, тот, кто выдает себя неволью или полностью открыт людям, потому что он существует и ему есть что сказать. Аршалуйс мысленно не раз вступала в разговор с Мориаком.

«Я согласна, что если так называемый кризис романа — штука не надуманная, вполне реальная, то речь идет о явлении духовного порядка. Причем, “духовного” от прямого его корня “дух”, “душа”. Можно ли сказать, что когда мы говорим о кризисе романа, то имеем в виду кризис духа?»

«То, что каждый из нас вкладывает в понятие “душа”, весьма различно, но в конечном счете это тот стержень, вокруг ко-

тогого выстраивается личность. У многих наших современников была утрачена вера в Бога, но не в те ценности, которые проповедует христианство. Люди верили в добро и зло. Добро не было злом, а зло не было добром. Крушение романа как мира обусловлено тем, что уничтожена его первооснова — понятие о добре и зле. Язык — и тот обесценен и как бы опустошен этим покушением на человеческую совесть».

«Вы однажды сказали, что романист похож на Бога. Ибо подобно Богу он создает живые образы. Приводили даже примеры, что Ростовы и Карамазовы — это вполне живые, реальные люди. Но все же, будучи романистом, вы несколько десятилетий отдали художественной публицистике, даже журналистике. Почему вы отказались от звания “Бога”?»

«Во-первых, я должен сказать, что настоящий журналист — это тот, кто может удержать читателей даже против их воли. И вообще, хорошая журналистика — это умение вести диалог. А диалог — это то, чего нам так не хватает. А отказался я, как вы говорите, от звания Бога, потому что одним из первых определил, что моя Франция страдает страшным недугом — “симптомом кровоизлияния в мозг”».

«Как известно, многие симптомы проявляются исподволь. Подчас не замечаешь их долгое время. А тем более, когда речь идет о недугах социальных. С чего у вас началось? На что вы обратили внимание в первую очередь, когда обнаружили, как сами выразились, симптомы кровоизлияния в мозг?»

«Все, наверно, началось с моих наблюдений — за жизнью в Париже и в провинции. Если эта жизнь заметно разнится, то рано или поздно беды не миновать. Никто, уверен, толком не исследовал, не препарировал анатомию столичного города, который, казалось, люди создали для... уединения. Ведь призадумайся: прелесть жизни в Париже составляет возможность уединения, безвестности. Все здесь в вашей власти: захотел — и отклонил эту возможность, захотел — уединился. Страх перед жизнью в провинции вырастает из представления о ней, как о месте, где не найти человека, говорящего на одном с тобой языке, и где ты при этом всякий миг являешься объектом наблюдения со стороны окружающих».

«А если так называемый провинциал превосходит окружающих умом и образованием?»

«То тогда он страдает уже от того, что одновременно и одинок, и находится на виду. Он — отпрыск такого-то рода, у него есть родня, определенные отношения с людьми. Всяк его зна-

ет, наблюдает за ним, приглядывается к нему, и тем не менее он — одинок. Конечно, и за пределами столицы есть умные, образованные люди, но как им повстречаться друг с другом? Провинция никогда не отличалась умением преодолевать социальные перегородки».

«Если все эти проблемы исходят из самой жизни, если многие причины объективные, как смена дня и ночи, то о чем может идти речь?»

«Давайте пока продолжим исследование этой самой жизни, этих самых объективных причин. Посетители провинциальных гостиных, как правило, выбираются из числа людей одного круга, одной среды. Духовные качества, ум, незаурядность во внимание не принимаются. Роль играет лишь положение в обществе».

«Один ваш соотечественник превыше всего ценил человеческое общение».

«Однако в провинции сама по себе беседа не является удовольствием. Там в гости съезжаются, чтобы пообедать или поужинать, сыграть в карты, но не поговорить. Провинции совершенно незнакомо присущее законодательницам парижских салонов искусство сводить вместе людей, которые благодарны им за это, — они вряд ли повстречались бы сами по себе.

В Париже люди состоятельные, ведущие светский образ жизни, полагают своим правом собирать у себя избранных, но не только одного круга. Они горды тем, что под крышей их дома сходятся таланты. Причем между гостями и хозяевами, будь последние хоть королевских кровей, устанавливаются такие отношения, при которых заведомо известно, что гений несет на алтарь общения больше даров и получает большее воздаяние. Столичная жизнь не позволяет делам полностью поглощать наше внимание. Занятый сверх меры политический деятель, видный адвокат или знаменитый хирург умеют дать себе передышку: поболтать, выкурить сигарету и так далее. И помогает им в этом привычная обстановка светской гостиной. В провинции адвокат, давший публике повод усомниться в его полнейшей занятости, считает себя обесчещенным. “Я не принадлежу себе”, — такова песенка провинциалов! Да, Экзюпери прав: общение с людьми, одно присутствие которых уже обогащает, — это радость. Но радость, даруемая только столицей и почти неизвестная за ее пределами...»

«Беседы» Аршалуйс с Мориаком продолжались на протяжении многих лет ее жизни. Иногда она даже приписывала свое-

му неизменному собеседнику мысли, которые, может, никогда и не приходили ему в голову. Ей так хотелось. Словно вначале она пыталась опробовать их и тогда уяснить, что нужно буквально убивать в себе слепую любовь к родному городу, который, как это ни звучит кощунственно, с годами больше приносит вреда народу, нежели пользы...

\* \* \*

Писала Аршалуйс много и о многом. Но все же осталась до конца верна теме Еревана. И, прогуливаясь по родному городу, она не раз ловила себя на том, что осязаемо чувствует: двенадцатая столица Армении — это счастье, которое можно трогать руками. Ереван — это воплощенная в камне справедливость, Историческая справедливость...

Казалось, нет уже такого дома, такой улицы, такого родника, о котором не писала Аршалуйс. И судьбу дома, улицы, родника она показывала через судьбу человека.

Ходить, бродить по Еревану у Аршалуйс было потребностью, как сигареты для заядлого курильщика. Чаще всего бродила она по улице Абовяна.

В прошлом веке в древнейшем поселении Канакер, расположенном, как утверждают историки, на перекрестке караванных дорог, родился и жил Хачатур Абовян — современник и единомышленник одного из самых выдающихся армянских католикосов Нерсеса Аштаракеци, который при непосредственной помощи Александра Сергеевича Грибоедова организовал репатриацию трехсот тысяч армян. И если бы не эта гуманная акция, названная так самим Грибоедовым, то сегодня трудно было бы представить и географию и биографию Восточной Армении, ставшей впоследствии символом возрождения родины. Аршалуйс писала и об этой великой тройке: Грибоедове, Абовяне, Аштаракеци. О том, что иные критики, не поняв всех тонкостей в отношениях между писателем Абовяном и католикосом Аштаракеци, спустя полтора столетия писали о якобы серьезных противоречиях между ними. У истинных патриотов серьезных противоречий не может быть. У истинных патриотов цель всегда одна: служить родине. Что же касается так называемых противоречий, то их у Аштаракеци и Абовяна не было. Были споры, которые случаются между принципиальными людьми. Аштаракеци знал, что Абовян работает над романом «Раны Армении». Он мог только приветствовать замысел и идеи писателя, в котором видел гения, основопо-



ложника новой, названной впоследствии современной, армянской литературы. Но гением ведь был и Аштаракечи. Мудрым гением. Он слишком хорошо понимал, что роман Абовяна переживет свое время. Сознал, что и нынче, и в будущем трудно будет рядом с романом Абовяна поставить другое достойное произведение. И в этом, как это ни казалось странным и даже парадоксальным, был весь вопрос. «Раны Армении» — это раны, нанесенные родине Персией, которая вместе с пришельцами турками поделила Армению. Поработитель и есть поработитель. Их, поработителей, не бывает хороших, как, наверно, не бывает хороших царей, хороших тиранов. И все же из двух зол, гласит мудрость, выбирают меньшее. Значит, и зло имеет степень, размеры, качество, что ли. Тут уж никак нельзя было сравнить Персию с Турцией. Первая — страна с древнейшей культурой, так много давшая мировой цивилизации, особенно в древние времена. И вдруг варвары-пришельцы, которые, уничтожая на своем пути именно мировую цивилизацию, добрались до Армении и предали огню и кривому мечу аборигенов, не ожидавших невиданных зверств. Абовян как художник мог писать свой роман только на основании того, что он видел, пережил. И это хорошо понимал мудрый гений Персес Аштаракечи. Как понимал и то, что у широкого читателя, особенно читателя неармянина сложится впечатление: враг армян — персы, враг Армении — Персия, Иран. И дело ведь не только в читателях. Дело скорее в последователях большого писателя. Великое творение всегда порождает последователей, традицию и, если хотите, инерцию. Появятся новые имена, новые поколения творцов, которые по-новому, под другим углом зрения будут рассказывать о незаживающих ранах Армении. И опять в основу будет положено «меньшее» зло.

Так оно и вышло. Аршалуйс Гукасян в своем очерке о Ереване, о Канакере писала о том, что до сих пор, к сожалению, у нас не родилось произведения, по силе художественного раскрытия темы народной драмы достойного «Ран Армении». И до сих пор о ранах Армении весь мир судит по «Ранам Армении». А это неверно. Нелегко жилось армянам при персах-поработителях, как нелегко приходится каждому народу при любом поработителе. Но ничто в мире не может идти в сравнение с тем, что выпало на долю коренных жителей исторической Армении после прихода турок. Об этом мало написано художниками. Единственный роман, получивший мировое признание, — «Сорок дней Мусса-Дага» создан австрийцем Францем

Верфелем. Рядом с этой выдающейся книгой пока нечего поставить.

Опубликованы миллионы суровых, бесстрастных документов. Но документы читают специалисты и сами армяне, которые свою историю знают и без документов. У каждого армянина собственная биография и биография его предков — это документ. Каждая судьба — это документ. И каждая судьба могла стать основой, стержнем большого художественного произведения. Много их было. Но, увы, средних. Иные оправдывали это тем, что невозможно художественными средствами передать невероятные страдания одних и чудовищные зверства других. Приводили примеры. В каждом селе, в каждом доме, где турки встречали беременную женщину, они непременно спорили между собой: мальчик во чреве или девочка? И спор разрешали, вспарывая живот ятаганом. Примеров таких много. Грудным детям вливали в рот раскаленный свинец. Насиловали жен и дочерей в присутствии мужей и отцов. Старикам, женщинам, детям выкалывали глаза, толпами загоняли в горы и бросали на произвол судьбы. И все это делалось в Западной Армении, в той части родины армян, которая «досталась» туркам. Какие уж тут раны Армении в Восточной («персидской») части, когда она, в конечном итоге, выжила и с помощью России обрела свободу.

В споре между двумя мыслителями, между Абовяном и Аштаракечи, Аршалуйс была на стороне католикоса. И «обвиняла» писателя лишь в том, что после него... не родился страстный художник, который сумел бы поведать миру о новых, куда более страшных ранах Армении. Всякий раз, прогуливаясь по улице Абовяна, проходя мимо бронзового памятника писателю, она ловила себя на мысли, что больше всех любит автора «Ран Армении», который родился довольно далеко от Еревана. Родился и вырос он в Канакере, не подозревая, наверное, что настанет день, когда его родной поселок станет частью Еревана. И памятник, который воздвигнули благодарные потомки своему земляку, был вначале установлен в Канакере, ставшем столицей, частью столицы. Не поверил бы Абовян в такое. Ведь от Канакера до исторического Эребуни около пятнадцати километров. Между ними проходили горы и ущелья. Проходила вечность. Сейчас и Эребуни и Канакер — это Ереван.

В республике насчитывалось тридцать семь сельскохозяйственных районов. Стало тридцать шесть. Один из районов, носящий имя Шаумяна, тоже стал Ереваном. Аршалуйс не скры-

вала своей радости и гордости, что растет и хорошеет ее Ереван. И в то же время не могла скрыть печали и возмущения по поводу того, что двенадцатая столица страны Наири по территории своей занимает одно из первых мест в стране, что треть населения республики живет в Ереване и что процессу скорее не урбанизации, а ереванизации не видно конца. Ввысь город не может расти: район сейсмически опасный. Вширь некуда: горы и ущелья. А расти надо. Другого выхода нет. Даже неудержимая фантазия великого Таманяна не могла предвидеть, что придется пробить, прорезать, пробурить целую гору, Норкскую гору, чтобы выйти на новое плато, на... продолжение города, продолжение легенды, которая гласила, что во время всемирного потопа Ной, просматривая с вершины Арарата окрестности, увидел котлован, обрамленный горами, и воскликнул: «Ереване!» («Видно»). Отсюда, якобы по библейской легенде, и название будущего города. Тысячелетия этот самый котлован, которым завершается Араратская долина, был «оседлым» местом для города. И вдруг надо выходить из рамок-гор. То дорогу прорубать, то мосты возводить. Мосты, которые не так просто построить. Надо выделять средств в три, а то и в четыре раза больше предусмотренного. Аршалуйс писала и о мостах. Приглашала читателей на левый берег Ахуряна, откуда хорошо видна одна из столиц Армении: Ани. Развалины Ани. И видны не только великолепные храмы и проспекты. Видна ровная долина. Кто, почему, по какому праву лишил народ-строитель не просто собственного города, но и собственной столицы? Ведь всему миру ясно, что зацвел бы Ани, если бы в нем жили хозяева. Ведь народ-строитель мучается с Ереваном. Заполняет ущелья камнями, срезает вершины сопок. И строит, и строит. Неужто победителем можно считать того, кто разрушает? Неужто мир имеет право при виде такой несправедливости быть всего лишь сторонним наблюдателем?! Ведь есть у армян Ани. Зачем расширять двенадцатую столицу на скалистых вершинах гор, где нет ни капли питьевой воды? Нужно ли это делать, если рядом с Ани течет река Ахурян? Нужно ли это делать, если Ани — армянский город и город армян?..

Строится Ереван. О нем складываются песни. Его воспевают и Аршалуйс Гукасян. Но когда она свои очерки о Ереване издала отдельной книгой, то вышла, как писал один из критиков, «странная картина». На протяжении многих лет автор книги считался одним из лучших певцов Еревана и ереванских градостроителей, и вдруг книга в целом наводит на грустные

размышления. Оказалось, проблемные статьи, напечатанные в разное время и в разных изданиях, собранные под одной обложкой, приобрели другое качество. Сборник проблем. Одни лишь вопросы и вопросы. И все они требуют своего разрешения. Вроде бы свершилось само чудо. Вырос новый город, краснокаменный Ереван. Миллионер-город с неповторимым Матенадараном и метро. И вдруг сплошные проблемы. Вопросы, требующие своего незамедлительного разрешения.

Какую-то неловкость от собственной книги ощущала и Аршалуйс. Такое с ней однажды уже бывало. Издала сборник публицистических статей и ахнула сама. Ахнули все. Даже те, кто приходил в восторг от каждой статьи в отдельности, нашли, что Аршалуйс сильно сгущает краски. Видит больше зла, чем добра. Препарирует тень. Не видит света. Вот тут-то и вспомнили ее рассказы, в которых — образы по-настоящему сильных и мужественных людей. Мол, напрасно писатель наступает на горло собственной песне. Писала бы рассказы и повести. Писателю, получившему всеобщее признание именно благодаря публицистике, специалисты-литературоведы предлагали всего себя отдать жанру рассказа. Но стоило после шума, вызванного книгой, выйти очередной статье в периодике, как все вроде становилось на свое место. Опять поздравления, благодарные слова о гражданском мужестве, о том, что кто-то должен был поднять эту проблему, поставить этот вопрос, который нельзя, оказывается, не решать.

Сама Аршалуйс ничего удивительного и странного не находила в том, что, с одной стороны — свершившееся чудо, с другой — проблемы и проблемы. С одной стороны — возрожденная государственность, с другой — так много мешающих нормальной жизни мелочей. И может, отлично сознавая все это, она всегда недоумевала, когда после той или иной публикации говорили о ее этаким гражданском мужестве. Можно, наверно, писателя хвалить за умение подать материал, раскрыть тему, предвидеть беду и, наконец, просто писать интересно. Но мужество... Если уж говорить о нем, о мужестве, то, наверно, прежде всего надо подумать о редакторе, а не о том, кто написал статью. И даже не о редакторе. Если само государство идет на то, чтобы печатать проблемные вещи, препарировать тень, значит, оно — организм здоровый. Оно напоминает море и лес, которые от урагана и проливных дождей только очищаются и самоочищаются.

За свою, уже можно сказать, многолетнюю журналистскую деятельность Аршалуйс Гукасян прочитала, просмотрела море писем. В них авторы редко когда что-то просят. Они требуют. Требуют, чтобы пересмотрели суд над близким человеком, ибо у них есть все данные о том, что суд вынес приговор несправедливо. Требуют снести гараж, который кто-то поставил прямо посреди двора, где бегают дети. Требуют наказать чиновника, который предложил инвалиду зайти через неделю, а сам на следующий день отправился в месячный отпуск. Люди не молчат. Они действительно требуют и выходят из себя — это значит продолжают писать и писать. И уже не соблюдают такта, не выдерживают тона. Адресаты тогда не обращают внимания на суть и смысл письма. Им бросаются в глаза отсутствие такта и грубый тон, и ставится диагноз: жалобщик. Можно назвать и иначе: кляузник, клеветник. И невдомек тем, кто приклеивает ярлыки, что нет никакого жалобщика. Есть государственность и чувство веры в то, что законы должны исполняться.

В конечном итоге любой человек в любой час находится в роли жалобщика. Даже если он всем пресыщен, все равно жалуется. Ведь от голода не так тошнит, как от пресыщения. Роль жалобщика играет и писатель, которого, вроде бы, называют борцом. Но ведь чтобы бороться за человека, надо бороться против чего-то. Против того, что мешает счастью человека. Опять же это можно сделать, когда есть государство. И не просто государство, а демократия. Мог ли писатель своим пером бороться за человека в условиях Османской империи или фашизма?! Писатель чего-нибудь стоит только там, где есть государство, делающее все, чтобы осуществить главный принцип человека: быть свободным от страха. Нет выше права у человека, чем «свобода от страха». Принцип этот позволяет человеку жаловаться самому государству на государство с целью совершенствования государства.

Но этот принцип начисто исключает трусость, а стало быть, исключает роль, которую играет анонимщик. Это новое слово, «анонимщик». В словарях его еще нет. Есть «аноним». «Анонимщик», наверное, звучит грубо, но точно.

Последние три-четыре года Аршалуйс много писала о проблеме анонимных писем. В каждой статье старалась хоть как-то понять авторов таких писем. Мол, многие бывают вынуждены прибегнуть к столь гнусному методу. И все же ни в одной из статей не могла скрыть своего физического отвращения к ано-

ниму. Вот и сейчас она то и дело притрагивалась к сумке, в которой находилось письмо, еще утром полученное в редакции, и все не могла избавиться от чувства, что несет с собой, как она однажды писала, омерзительную жабу, от которой руки покрываются красными пятнами. Она, разумеется, не знала автора письма, но хорошо знала человека, о котором шла речь в письме, крупного ученого, известного всему миру. Аршалуйс только раз видела ученого и то по телевизору. Он открывал какой-то международный симпозиум, посвященный актуальным проблемам тяжелой неизлечимой болезни. Еще тогда она обратила внимание на его лицо и подумала: душа радуется, что есть такой вот умный и красивый, с высоким лбом, тонкими чертами лица соотечественник, признанный всеми специалист. И опять упрекала себя, что редко пишет очерки о конкретных людях, судьбах. Была уверена, что случай их когда-нибудь сведет вместе. Не может быть, чтобы они не познакомились. Аршалуйс это понимала...

\* \* \*

В двухместной больничной палате стояло три койки. С самого начала администрация решила: три кровати в каждой палате — и никаких разговоров. Комиссия приняла новое здание клинической больницы, приданной научно-исследовательскому институту. Приняла на «хорошо». Акт подписала. И тотчас же семидесяткоечная клиника превратилась в стокоечную. Никого это не удивило. Ни директора института, ни министра, ни тем более больных, которым как-то было все равно — две койки или пять. Институт особый. Его стараются обходить, побаиваются. Ну, и клиника особая. О ней говорят: «дорога в один конец». Так что и обитатели двухместной (по проекту) палаты ни разу не задумывались над теснотой. И тут дело не в том, что срабатывала древняя мудрость «в тесноте, да не в обиде». Всех троих объединяло одно: диагноз. Собственно, трое было до того памятного утра. В шестом часу человек на койке, стоящей у окна, затих. А через два часа, как и положено по инструкции, койка опустела. И все эти два часа двое других обитателей палаты провели в коридоре. После того, как тело несчастного соседа вынесли, сестра настояла, чтобы больные, наконец, легли и отдохнули. Но отдыхать они не стали.

— Ну и ночь, — нарушил мертвую в буквальном смысле слова тишину палаты Вазген Левонович Бадунц, худошавый мужчина лет пятидесяти.

— Это уже третий за последнюю неделю, — заметил Размик Арамович Тоноян, сосед по палате, небольшого роста коренастый человек почти одних лет с Бадунцем.

— И у всех одно и то же, — сказал Бадунц, стоя у окна, — у всех одно и то же и один и тот же конец...

— А ты слышал, у нашего профессора, у него самого то же самое? Надо же, такое совпадение...

— Это давно известно, — добавил Бадунц, глядя в окно,

— Честно говоря, это меня где-то радует, — с неестественной улыбкой сказал Тоноян.

— То есть, как это радует?

— Не надо ловить меня на слове. Может, я не так выразился. Может, хотел сказать «успокаивает». Я так думаю: если бы кто-нибудь где-нибудь знал средство от нашей болезни, то профессор, небось, первым бы поехал на лечение.

Бадунц отошел от окна, сел на свою кровать напротив Тонояна и уверенно произнес:

— Нигде в мире нет такого средства. Везде лечатся по методу нашего профессора. Будь то в Москве, Париже или Канберре.

— А это еще где, Канберра?

— В Австралии.

— И ты, дорогой мой Вазген Левонович, хочешь сказать, что и в Австралии знают о нашем профессоре?

— Везде знают. В науке всегда так. Коллеги знают друг друга и знают друг о друге. Иначе невозможен прогресс в науке. А то, скажем, на каком-нибудь острове, оторванном от внешнего мира, человек возьмет да и изобретет велосипед. Потратит время и энергию понапрасну. Зачем изобретать то, что уже изобретено? Так что метод профессора известен, я уверен, и в Канберре. Пока нигде ничего лучшего для нашего брата не найдено. Вот и выходит, что нашего профессора знают на всех континентах. И я считаю чудовищной несправедливостью, что он болен неизлечимой болезнью, против которой сам же борется...

С улицы донеслись крики. Бадунц и Тоноян одновременно бросились к окну, приоткрыли форточку. Отчетливо стало слышно, как плачут женщины.

— Хоть бы детей пожалели, — тихо сказал Бадунц. — И чего их привели сюда, зная, что отец умер.

— А может, не знали еще. Может, с утра навестить решили. А тут такая вот весть. Вон видишь, у той женщины корзина пузатая в руках. Значит, навестить пришли.

— Трое детей у него было, — вздохнул Бадунц.

- Ну и что? У меня их четверо.
- Не понимаю я тебя.
- А чего понимать. Ты же сам говоришь, что болезнь наша неизлечимая. Значит, скоро я буду в худшем положении, чем наш давешний сосед. У него трое сирот. У меня будет четверо.
- Оставим эту ужасную арифметику. Выходит, если у меня их двое, а у профессора всего одна девочка, значит, нам больше повезло, что ли?
- Не знаю, уместна ли, как ты говоришь, арифметика в нашем деле, но четыре больше, чем один, и два, и три. Значит, и горя больше. Значит, и покоя мне будет меньше. Вот почему я так сказал о болезни профессора.
- Странный ты все-таки человек, Размик Арамович.
- Я не странный. Просто я думаю, если болеет врач, значит будет стараться. В нашем доме живет начальник жэка — так никаких хлопот с горячей водой, с лифтом и светом мы не знаем. А посмотри, что творится в соседних домах...
- И ты сравнил врача с начальником жэка?
- Нет. Я сравниваю несчастных больных с несчастными жильцами, для которых жэк как скорая помощь, а начальник как главный врач. Что толку, когда врач здоров, как бык, и ничуть не сочувствует больному. Равнодушно, не глядя тебе в глаза, выдаст: пить нельзя, курить, по бабам ходить, переедать нельзя. А был бы врач, как ты говоришь, в шкуре нашего брата, глядишь, вместо бесконечных «нельзя» сказал бы, что и как можно. Так что очень даже справедливо!
- И как только у тебя язык поворачивается такое говорить?! Болезнь неизлечимая, а он крупный ученый.
- Я тебя, Вазген Левонович, всегда просил не придирайтесь к моим словам. Как говорится, университетов не кончал. И всегда говорю, что думаю. Болезнь ведь и для меня неизлечимая.
- Мне кажется, ты что-то напускаешь на себя. Тут дело не в том, хороший или нехороший человек. Из тебя, как ты ни стараешься, прямо-таки выпирает какая-то озлобленность на профессора. Словно не его ты хулишь, а себя в чем-то оправдываешь. Да, болезнь неизлечимая. Но именно наш профессор ближе всех своих коллег стоит к тому, чтобы болезнь стала излечимой. Он великий ученый. И, конечно, несправедливо, когда великие люди умирают раньше времени.
- По-твоему, одни могут умереть раньше времени, а других жалко. Так, что ли?



— Тут дело посложнее. Дело в том, что Сурен Самсонович...  
— А кто это такой, Сурен Самсонович?  
— Месяц уже лежишь здесь, а не знаешь, что профессора зовут Сурен Самсонович.

— Всегда только и слышишь: профессор сказал, профессор рекомендовал, профессор отменил...

— Дело осложняется тем, что именно он, Сурен Самсонович, заболел болезнью, против которой борется долгие годы. Вот в чем несправедливость.

— А то, что я заболел, — это, по-твоему, справедливо?!

— Нет, несправедливо. Но я о другом. Как говорится, все там будем. Но обидно, когда слепнет великий художник. Это ведь слишком жестоко. Так хочется закричать: о боже, что же ты такое делаешь! Это же так несправедливо: великий Врубель без зрения. Он, король цвета и света, — и вдруг не видит. А миллионы людей в это время видят и цвет, и свет. Видят даже те, кому не нужен, может, ни цвет, ни свет.

— Все делишь людей на нужных и ненужных. Интересно, кому не нравится свет?

— Если Всевышнему на земле нужен определенный процент слепых, то зачем надо выбирать художника, да еще такого, как Врубель? Если ему нужно, чтобы кто-то непременно оглох, то зачем для этого выбирать великого музыканта — короля звуков? Может, несправедливо, чтобы вообще кто-то из смертных оглох. Но Бетховен — это Бетховен. Он пришел в этот мир, чтобы нести людям неповторимую музыку, которую можно воспринять только ухом.

— А тебе не кажется, что твой Всевышний специально все устроил так, чтобы никого не выделять под луну? Почему, мол, кто-то должен быть застрахован от глухоты, а я вот нет. Не происходит ли это от того, что Бетховен и этот самый твой художник Брумель слишком много получили от Бога. А теперь глухота и слепота как компенсация за талант. Что же до меня, то я в отличие от других честно всегда признаюсь: ни черта не смыслю в музыке и впервые узнал от тебя о Брумеле...

— Врубеле.

— А для меня нет разницы. Что Брумель, что Врубель — все одно.

— Между прочим, Брумель великий спортсмен. Его называли космическим прыгуном. И ведь опять несправедливо вышло. Думаю, менее одного процента людей на земле ломают ноги. И надо же, среди них оказался великий спортсмен, пры-

гун в высоту. Нога для него — как зрение для художника, как слух для композитора.

— Это называется допрыгался. Странный не я, Вазген Левоневич. Странный ты. Ищешь несправедливость не там, где нужно. Подумаешь, кто-то ослеп, кто-то оглох, кто-то ногу сломал. И это тебя очень волнует. Я думаю, эти твои таланты неплохо прожили. Ты лучше о себе подумай. Никто, небось, не беспокоится обо мне. Не гадает: справедливо или несправедливо, что такое стряслось со мной. Меня пока успокаивают, мол, течение болезни доброкачественное. Слово-то какое, «течение». Прямо как река. Я уже не говорю о другом слове — «доброкачественно». Я задумался, и нехорошо мне стало. Речь идет о болезни и вдруг такие слова, как «добро» и «качество». Как в магазине. Добротная ткань. Качественный материал. Лучше б твой всевышний обошел меня этим самым «добром».

— Мой всевышний, как видишь, и меня не обошел.

— И где же его справедливость? Ведь ты кандидат наук, книжки пишешь. В них я ничего не смыслю, но думаю, раз печатают, значит людям нужно. Иначе, наверно, не печатали бы. Я начал было читать твою книгу. Умный ты человек. Интересно излагаешь, Красиво и даже понятно. Только вот непонятно — для чего? И злюсь от того, что не понимаю, для чего ты пишешь? Я дом построил, семью, слава Богу, содержу большую. Но вот жизнь с детства сложилась так, что не до книг было. Газеты еще читаю. Вон взял полистать твою и тоже ничего не получается. Читаю — вроде все понятно. Но уже через минуту-другую думаю о другом. Чаще всего о нашей с тобой болезни, которую и не выговоришь без пол-литра. Одни лишь разговоры о справедливости и несправедливости, о хороших и нехороших людях. Или, как ты говоришь, о подонках и предателях. Тут все дело в том, кто оценки дает. Для кого подонок и предатель, а для кого очень даже порядочный человек.

— Так не бывает.

— Бывает.

В палату вошла лечащий врач, стройная светлолицая женщина без шапочки, с аккуратно подобранными волосами. Остановилась между двумя койками, держа в руке тонометр для измерения кровяного давления. Посмотрела на одного, перевела взгляд на другого, словно желая узнать, с кого начать осмотр.

— Начните с него Рузанна Аршаковна, — сказал Тоноян, угадав минутное замешательство доктора, — он сегодня борется за справедливость.

— За справедливость всегда надо бороться. Скажите лучше, как спалось?

— Хорошо спалось, — не скрывая иронии, ответил за двоих Тоноян, — к утру эвакуация в коридор. А утром крики в форточку.

— Да ладно тебе, — вставил Бадунц.

— А я ничего. Умер человек. Жалко человека.

— Это верно, — сказала Рузанна Аршаковна и принялась накладывать манжетку тонометра на руку Тонояна.

Она послушала сердце больного. В который уже раз определила границы сердца. Делала все, скорее, автоматически, нежели в этом была необходимость. То же повторила со вторым больным, не задавая ни одного вопроса.

— А что, профессора не будет сегодня? — спросил Бадунц.

— Нет.

— Чего это? — вступил в разговор Тоноян. — Ведь сегодня его день.

— Сегодня будет доцент. А профессор болен.

— А что с ним? — встревоженно спросил Бадунц.

— Болен. Лежит дома.

— Рузанна Аршаковна, вот тут наш Бадунц утверждает, что Бог несправедливо поступил по отношению к профессору, который заболел той болезнью, против которой сам борется. Он еще сказал, что наш профессор лечит даже зарубежных больных.

— Вазген Левонович верно говорит. На последнем международном симпозиуме было официально заявлено, что методика профессора Аматауни принята во всем мире.

— Я, конечно, ничего не понимаю в медицине, — сказал Тоноян, — но все же — живой человек и голову имею трезвую. О какой такой методике идет речь, если болезнь неизлечимая? Если все равно доброкачественное течение со временем перестанет быть доброкачественным...

— Вы правильно сказали: со временем. Вот методика ученого это самое время и продлевает.

— Теперь тебе ясно? — вставил Бадунц.

— А я ничего. Я и говорю, хороший человек наш профессор. Добрый. Правда, меня он оскорбил, но я не в обиде.

— Оскорбил? — с удивлением спросила лечащий врач.

— Я ему говорю, мол, в долгу не останусь. А он мне: «А какая у вас зарплата?»

— И что ты ему ответил? — спросил Бадунц.

— А что я мог ответить! Я пожал плечами, мол, а при чем здесь зарплата. Сто восемьдесят чистыми.

— А он что? — улыбаясь, спросила лечащий врач.

— А он — у тебя сто восемьдесят, а у меня — пятьсот сорок и тоже, мол, чистыми.

— А ты что? — не выдержал Бадунц.

— А я ничего. Я с тех пор думаю: что он этим хотел сказать?.. Я ведь...

— Наверное, хотел сказать, — перебила доктор, укладывая в коробку манжетку и шланги, — что вы получаете сто восемьдесят, а он пятьсот сорок.

— И что из этого?

— А то, что профессор получает в три раза больше, — повысил голос Бадунц.

— А что, другие профессора меньше, что ли, получают? Я же хотел, как водится исстари: добром на добро. А он на меня так посмотрел...

— Я думаю, этот разговор оскорбил профессора. Тем более что он сам болен, — заключила Рузанна Аршаковна и, не попрощавшись, вышла из палаты.

Наступила тишина. Обитатели палаты молча лежали на кроватях поверх одеял. Через открытую форточку доносился шум больничного двора: одинокие сигналы машин, плач детей, отдаленный гул большого города.

— У него третья стадия, — вздыхая, выдал из себя Бадунц.

— У кого?

— Сам знаешь, у кого, — раздраженно сказал Бадунц.

— Ну давай, давай... Поплакал о Бетховене и еще, как там его, я все забываю. А теперь поплачь о профессоре.

— Ты же не такой, Размик Арамович, зачем казаться хуже, чем есть?

— Ты как сговорился с моей женой. Она тоже так частенько говорит. Не могу я, как ни силюсь, простить профессору. Зло он посмотрел на меня, когда я сказал, что не останусь в долгу. А чего злиться? Не от хорошей жизни больные хотят отблагодарить. Уж лучше была бы платная медицина. Там хоть знал бы таксу и никаких тебе неудобств. А тут гадай, да еще получай в ответ злой взгляд. А ведь говорят, все берут.

— Говорят...

— Да, говорят. А этот отказался. Одно из двух: или не надеется, что с моей зарплатой я сумею расплатиться, или отказы-

вается, потому что нет надежды. Я жизнь эту хорошо изучил. Не напрасно так много болтают о врачах. Они ведь не дураки, денег не возьмут, если нет надежды. Съели бы тогда врача. А то что получается? И родного человека теряешь, и деньги в придачу.

— А как же при твоей платной медицине? Там что, безнадежные не платят?

— Там, я тебе сказал, такса. Узаконенная. Я могу бешеные деньги заплатить за мебель по государственной цене, и у меня на душе будет праздник. А вот переплачу хотя бы червонец спекулянту и — пиши пропало. Никакого тебе праздника, одна тоска. Так что, раз уж платная, значит, платная. Там уж зло на тебя не посмотрят. И не поиздеваются, расспрашивая про зарплату. Будто в наш век кто-нибудь живет на зарплату.

— Я живу на зарплату.

— Вижу, как живешь..

— Это как же я живу?

— Да не смотри ты, Вазген Леонович, на меня зверем. Я ведь не хочу обидеть тебя. Ты ведь не знаешь, как иные люди живут, получая намного меньше твоего. И чего это все на меня так зло смотрят? Неужели только потому, что я правду говорю. Всю жизнь вот так. Страдаю оттого, что я — прямой человек.

— Прямой, конечно. Прямой, как штопор.

\* \* \*

Целую жизнь прожила Аршалуйс в Ереване, очень любила улицу Абовяна, но не знала такой малости: улица начинается от площади Ленина или заканчивается там? Так много писала о градостроительстве и архитекторах, но спроси ее, по какому принципу определяют направление порядковых номеров домов, не смогла бы ответить. Вот и сейчас, выйдя на просторную площадь с музыкальными фонтанами, она подумала о том, что улица ее кончилась. А может, началась? Нетрудно узнать. Стоит только посмотреть на номера домов... Но опять забыла. Все было привычно в этом городе для Аршалуйс. И даже то, что, прогуливаясь по его улицам, обязательно о чем-то задумаешься. Лишь на площади Ленина ее мысли прерывались, и она непременно заглядывала в центральный книжный магазин. Когда он бывал закрыт, она радовалась. У нее был принцип: из книжного магазина с пустыми руками не выходить. Хоть крохотную брошюру, хоть очередную карту Армении. И спустя годы этот принцип привел к кошмару. Полный дом книг и

карт. Многие ей уже не нужны. Есть среди книг и такие, которые она только начинала читать или лишь перелистывала. Выбрасывать жалко. Сдавать в макулатуру — хлопот не оберешься. Вот и стала рабом собственного принципа. Но уже нарушить его не могла. И радовалась, когда самый большой магазин в городе бывал закрыт. Пройдя через площадь к гостинице «Армения», Аршалуйс знала, что обязательно подойдет к родничку на углу в самом начале улицы Шаумяна. Автоматизм диктовал ей не только маршруты и остановки. Даже переходила улицы всегда в одном и том же месте. Обязательно проходила мимо фонтанов, сооруженных в сквере в честь двух тысяч семисот пятидесяти лет Еревана. Их ровно две тысячи семьсот пятьдесят. Каждый из них — это год жизни Эребуни — Еревана. Один фонтан — один год. Сто фонтанов — век. Двадцать семь с половиной веков.

Кончатся фонтаны бассейном, в котором бьют свои фонтаны. Бьют с шумом у стены, где стоит гранитный Шаумян. Стоит, уже сраженный пулей. Еще мгновение — и вместе с двадцатью пятью своими соратниками он упадет на землю. Но он стоит. И стоять ему вечно, как стоять вечно Еревану. Поручкой тому седой и мудрый возраст города.

Площадь Шаумяна — это скорее широкий перекресток. Площади как таковой здесь нет. И отсюда идет продолжение улицы. Еще совсем недавно Аршалуйс, как уже говорилось, читала ворохи писем своих читателей, которые просили и требовали не трогать ряд домов, идущий от площади Шаумяна до улицы Кармир Банаки. Целый квартал — старинные дома. Дома-магазины. Они построены в конце девятнадцатого, в начале двадцатого веков. Одноэтажные. Двухэтажные. Не только магазины, но и жилые дома купцов. Рядом сады, фруктовые деревья. И вдруг — под снос. Все до последнего дома. Несколько поколений ереванцев выросло здесь. Им каждый камушек дорог. И это естественно. Еще Экзюпери говорил: родина начинается там, где ты бегал голоштаный. И вот начало начал — под снос. Кто-то назвал это узаконенным вандализмом.

Аршалуйс самой нелегко сознавать, что вот так запросто, действительно методом «узаконенного вандализма» можно ломать на глазах у людей тротуары, по которым они бегали с детства, дома, в которых родились и выросли. Другое дело, когда речь действительно идет о «геджеконде», о глинобитных хижинах, построенных за ночь и на ночь. Но тут каменные дома.

Среди них двухэтажные и даже трехэтажные. Нелегко сознавать умом и уж совсем неумоготу воспринимать «узаконенный вандализм» сердцем. Но есть, наверно, у человека нечто такое, что больше и выше ума и сердца. Это душа. Христианская цивилизация пришла на смену языческой, не подозревая, что главный принцип остался неизменным. Это душа, устремленная во времени вперед, в будущее. Иначе никакая вера не могла бы подчинить себе человека. Человеку за все его мучения и страдания на земле давали надежду на будущее. Но — не телу его. Душе. Душой и воспринимала Аршалуйс необходимость «узаконенного вандализма». Ничего страшного в том, что одно поколение чуть пострадает от ностальгии по детству и привычкам. Даже великие французы не приняли Эйфелеву башню. Писали фельетоны, эпиграммы. И что? Сегодня это символ Парижа. Скажи парижанину, что снесут башню. Только попробуй. Уж сколько разговору было вокруг памятника Кочара, который после своего шедевра, Давида Сасунского, осмелился все-таки сотворить еще одного «конника» в Ереване — Вардана Мамиконяна. Некоторая модернистская стилизация приводила и пока еще приводит в бешенство нынешнее поколение ереванцев. Но Аршалуйс как-то обратила внимание на беспечно резвящихся детей возле парящего над пыльной землей Вардана и поняла, что для этих ребятишек памятник великому полководцу будет и родным и близким. И тут дело не только в привычке, не только в том, что «конника» будут помнить столько же, сколько будут помнить себя. Дело в том, что великий скульптор создал великое произведение. Так что главным критерием является ценность того или иного произведения. Не принял ведь ереванец гигантскую скульптуру, раскрывающую величественную тему «Мать-Родина», возвышающуюся над самым городом на высоком холме в парке Победы. Уже выросло одно поколение. Уже появились дети у тех, кто родился в год, когда воздвигли скульптуру женщины с мечом. Но не признают, не принимают, не приемлют. Автор изваял фигуру женщины у себя в мастерской, по-видимому, не задумываясь над тем, что на нее будут смотреть с огромного расстояния. И не будут видны ни узоры на щите, ни морщинки на руках, ни складки на платье. Женщина словно стоящая по команде смирно. Никакой динамики. Есть затасканное слово у критиков — «экспрессия». Так вот, никакой экспрессии. Стоит и держит меч в неестественном изгибе руки. Издалека кажется, даже не человек стоит на великолепном, кстати, постаменте, а ствол

дерева. И кто знает, может, придет время и какое-нибудь поколение, ничуть не желая оскорбить скульптора и его современников, сотворит достойную великой теме работу. И тогда, может, кое-кто будет противиться, как противились при создании Эйфелевой башни, как противились при сносе торгового ряда от площади Шаумяна до улицы Кармир Банаки. И противилась и не противилась одновременно лишь душа Аршалуйс, устремленная в будущее. В будущее, которого Аршалук, как сама часто признавалась, очень боялась. Легко было догадаться, что всякий раз на месте снесенного одноэтажного дома воздвигнут высотку, а когда-нибудь и небоскреб. И тогда наступит настоящий паралич. В Ереване неуютно станет жить и трудно дышать. И еще — в Ереване будет проживать больше половины населения республики. Это — патология. Это — удобная мишень для врага.

\* \* \*

Аршалуйс прошла через небольшую площадь Шаумяна, подошла к крохотной скульптуре мальчишки с кувшином и дальше, туда, где недавно стоял первый дом торгового ряда. Теперь здесь разбит сквер, с шумными, как горные реки, фонтанами. Да, опять фонтаны. Их много. Еще никто не сосчитал их количество в Ереване. В их обилии есть великий смысл. Город, в котором установлена скульптура подростка, продающего в кувшине воду, поет на все лады несметным числом своих фонтанов. А шоколадного цвета сверстники мальчишки с кувшином в летний зной с утра до вечера барахтаются в бассейнах с фонтанами. Правда, настанет день, когда фонтаны умолкнут. Чем больше небоскребов, тем меньше воды, которой всегда будет не хватать Еревану.

Камень и вода. Вот сегодняшний символ Еревана. Их союз во все времена был символом армянского народа. Символ твердости и вечности. Символ духа и мысли. И нет такого уголка в Армении, где знаменитые варпеты не создали памятники-родники в честь героев, в честь памятных дат. Путник, страдающий от жажды, прежде чем прикоснуться горячими губами к крохотному фонтанчику, должен наклониться. Поклониться памяти героя.

В живописном Разданском ущелье выстроились в ряд родники-памятники комсомольцам — героям войны. Ущелье стало местом паломничества для многочисленных туристов и гостей Армении. Одним из инициаторов строительства этих



родников была Аршалуйс Гукасян. Она призывала молодежь города в свободное время выходить на работу в помощь варпетам, которые творили само чудо. Сам символ. Писала она чуть ли не о всех родниках города, о скверах с фонтанами, о площадях с бассейнами. И все же сетовала на то, что архитекторы и строители слишком увлекаются камнем. В каменистой стране «сеют» камни. Главный проспект, пересекающий проспект Ленина, улицы Абовяна и Налбандяна, весь соткан из камня. Бассейны с фонтанами — хорошо, союз воды и камня — хорошо. Но лучше все-таки чувство меры. Сеять нужно траву, а не камни. Сажать нужно деревья, а не скалы.

Та же картина и в сквере, расположенном между площадью Шаумяна и улицей Кармир Банаки. Красиво вроде бы: шумит вода, шелестят листья молодых деревьев. Но опять же духота. На каменистую землю уложены гигантские каменные плиты. Камни и больше ничего. Одно лишь хорошо: каждый вечер с гор дует прохладный ветер, неся с собой свежесть и бодрое настроение.

Первые порывы ласкающего ветра коснулись лица, когда Аршалуйс добралась до середины сквера. Она села на низкую скамейку, вслушиваясь в звонкий стук железа о камень. Это работали варпеты над памятником Александру Мясникяну, созданным талантливым скульптором Ара Ширазом, сыном великих Ованеса Шираза и Сильвы Капутикян.

\* \* \*

Аршалуйс открыла сумочку. Порылась в ней, искала расческу. Но, нащупав письмо, забыла привести в порядок взлохмаченные ветром волосы. Принялась за письмо, хотя уже читала его три-четыре раза. С письмом ознакомились несколько человек в отделе писем: заместитель редактора, редактор. Письмо — копия. Значит, оригинал тоже прочтут с десяток человек. Речь в нем идет об известном всем человеке. Слух о письме распространится быстро, если каждый расскажет о нем хотя бы двум знакомым, и пойдет молва. Профессор, оказывается, прежде чем начать лечение, справляется у больного о его зарплате. Профессор старается все «доходные» операции брать на себя. Игнорирует мнение коллектива. Создал собственный культ, который мешает расти молодым и перспективным ученым. Чаще других бывает за границей. И все в таком духе. И ни одного слова о достоинствах ученого. Аршалуйс читала письмо и оглядывалась по сторонам: ждала человека. Она

пришла в не описанный еще составителями путеводителей и не воспетый поэтами сквер на свидание. К пяти должен подойти мужчина, с которым она знакома, можно сказать, всю жизнь. Ровно столько, сколько помнит себя. Росли они в одном дворе. Самвел был грозой округи. Лет на пять-шесть старше Аршалуйс, рослый, крепкий. Не успевало солнце прогреть по весне свежий ереванский воздух, как Самвел уже выделялся темным загаром. Если где драка, разбитое стекло, если где свора пацанов — там непременно Самвел. И с той самой поры Аршалуйс была влюблена в Самвела. Отец ее погиб на войне. И в доме остались одни женщины: мать и сестры. Она была старшей из четырех сестер. И всегда чувствовала, что ей недостает крепкой опоры. И может, поэтому так тянулась к самостоятельному и бесстрашному Самвелу, перед которым лебезили все обитатели двора и даже квартала. Время было послевоенное. Жулья и воришек хоть пруд пруди. Без надежного защитника приходилось трудно. Но как ни старалась Аршалуйс, не могла привлечь к себе внимание Самвела. Пять или шесть лет разницы в подростковую пору — это целая пропасть. Какой четырнадцатилетний мальчишка обратит внимание на восьми-девятилетнюю девчонку! Рослый загорелый сорвиголова и девчонка-тростинка с пышными бантами, огромными, как у ослика, глазами, в которых притаился испуг. Мать с утра до вечера на заводе. Редко когда доводилось видеть ее дома. А если и случалось, то только ночью. Мать расспросит о делах по дому, даст советы, вспомнит детство, которое прошло в Хотурджуре. Она не раз сетовала, что не работа в лаборатории каучукового завода ей не по душе, а сам завод. Открывали его с помпой, много было шума и радости. Не кто-то, а мать хорошо понимала, что завод этот страшная большая змея, которую пригрели на груди у Еревана и ереванцев. И придет время, она непременно ужалит. Отравит. И это в буквальном смысле. Но мать свои беспокойные мысли завершала словами, что сейчас не до этого, сейчас надо выиграть войну. Может, и сразу после войны будет не до этого. Надо восстановить страну от разрухи. Но потом! Потом или надо задушить пригретую змею, или она сама убьет тебя. Аршалуйс перебивала мать. Не хотела слышать ничего, что не возвышало, по ее мнению, родной город. И вообще, что это за страх перед будущим, когда есть страх сегодняшний. Когда целая прорва хулиганов так и норовит обидеть. А ты, старшая дочь, за старшего в доме. А что главное для дома прежде всего? Это чтобы не было

страха, чтобы ничего не бояться. Голод — ерунда. Можно уснуть и голодным. А если на улице тебя дернули за косу да еще и пригрозили: «Попробуй еще раз пройти по этой улице», то тут ни за что не уснешь. Все будешь думать об обидчике, думать о том, как бы наказать его. У него, правда, косичек нет, но ведь зато есть нос. Вот из него и можно сделать котлету. Вот его-то и можно превратить в синий баклажан. А это мог сделать только Самвел. Однако он на помощь не приходил. Он больше защищал девчонок постарше. Вот и пришлось Аршалуйс защищаться самой. Однажды она так толкнула при всех мальчишку, который все время дергал ее за косички, что тот не удержался и шлепнулся в лужу, как жаба. Какой невообразимый хохот поднялся вокруг! С тех пор Аршалуйс почувствовала в себе силу и смелость, обратила внимание, с каким уважением относятся к ней мальчишки, не говоря уже о девчонках. И все же Самвел для нее продолжал оставаться недостижимым кумиром. Она сама удивлялась, что краснела, как только видела Самвела. А он словно не замечал ее. Однажды, проходя мимо нее со сверстниками, Самвел провел пятерней по ее волосам. Не то погладил, не то по-своему, по-взрослому поприветствовал соседку. Но помнила, что всю ночь тогда не спала. Что там страх! Подумаешь, поерзаешь в постели, помечтаешь, как расквасить нос обидчику! А тут даже и не знаешь, о чем думать. Не идет сон, и всё. Хоть умри.

Аршалуйс ходила в четвертый или пятый класс, когда по округе прошел слух: красавчик Самвел поступил в медицинский. Этот известный хулиган и драчун, сорвиголова и гроза «чужаков» вдруг решил стать врачом. Только потом Аршалуйс узнала, что отец Самвела, который тоже не вернулся с фронта, был врачом. И не просто врачом. Все говорили, военным врачом. И Аршалуйс решила: во что бы то ни стало тоже станет врачом. Мама ее всегда на работе носила белый халат. Аршалуйс часто надевала его и вертелась перед зеркалом. Где-то в шестом или седьмом классе она догнала маму в росте и гордилась, что в классе на уроке физкультуры стояла второй. Выше нее была только вечная второгодница Асмик. Так что мамин халат был Аршалуйс впору. Она не любила застегивать пуговицы. Сразу было видно, что халат с чужого плеча. Ростом-то догнала мать, а вот все еще оставалась тростинкой. С тех пор как посадила в лужу своего вечного обидчика, она полюбила спорт. Лучше всех бегала во дворе. А в классе слыла настоящей обезьяной: так ловко выполняла гимнастические упражнения,

особенно на кольцах. Был в пору ее отрочества такой снаряд в женской гимнастике. Упражнения выполняли, раскачиваясь на кольцах.

Года два Аршалуйс не раз примеряла халат перед зеркалом. Говорила, что непременно станет врачом. И, конечно, никому не признавалась в истинной причине своего выбора. Мать только радовалась. Потом домашние обратили внимание, что Аршалуйс охладела к халату. А разговоры о будущей профессии в ее присутствии уже не затягивались. Они затихали и замирали, не успев родиться. Никто, конечно, не знал, что виной была шумная свадьба в соседнем квартале. Свадьба Самвела, который, как и Аршалуйс, переехал со своей семьей в новый дом. И все равно, можно считать, они были соседями. Аршалуйс жила на улице Абовяна, а Самвел — на Саят-Нова, недалеко от места пересечения этих двух красивейших улиц Еревана. Шум свадьбы после полуночи доносился до дома, в котором жила семья Гукасян. В ту ночь девятиклассница Аршалуйс почувствовала себя взрослой. Она уяснила твердо, что одними иллюзиями жить нельзя. Аршалуйс трезвела. Мучаясь бессонницей, она открыла для себя, что ее по-настоящему и не тянуло стать врачом. Может, с тех пор, как она наказала своего обидчика, Аршалуйс решила, что самая лучшая профессия на свете — это, как бы громко не звучало, профессия борца за справедливость. А в том, что есть такая профессия, девочка ничуть не сомневалась. Конечно, и врач, и учитель, и милиционер, и ее мама-лаборантка — все они так или иначе борются за справедливость на земле. Но это совсем не похоже на то, когда видишь собственными глазами лежащую в луже саму... несправедливость. Еще с детства, стараясь походить на Самвела, Аршалуйс была заводилой, дружила с девчонками старше нее, не уступала сверстницам в смекалке и уме. Но все это не мешало ей часами засиживаться над книгами. Читала все подряд. И мать не раз после полуночи отбирала у дочери книгу, делая, как всегда, последнее замечание. Особенно удивлялась мама, когда видела старшую дочь, обложенную газетами и журналами. Прямо как мужик какой, говорила не раз мать. И дочь ничуть не обижалась. Ей нравились очерки, в которых авторы словно угадывали мысли и тревоги читателей. А главное — ощущение, будто сразу после написанного все изменится, все встанет на свои места. И Аршалуйс сама пробовала писать очерки. Писала для себя, как юноши втайне грешат стихами. И под затихающие звуки свадьбы девушка заснула, зная, что станет журналистом.

Тогда еще в Ереванском государственном университете был такой факультет...

Знать бы в то время, в далеком мире детства, что придет день, когда Самвел будет просить и даже требовать свидания! «А я, — думала Аршалуйс, — согласилась не только потому, что всегда хочу видеть его глаза, но и по другой причине. В редакцию пришло очередное анонимное письмо из клиники, в которой работает Самвел. Чует мое сердце, он знал о письме. Бедный мой Ереван. Мало того, что его травит ядовитая атмосфера, он еще травится изнутри». И Аршалуйс вновь, как это бывало не единожды, вспомнила своего великого француза. Забыв о том, что в парк пришла на свидание, она по привычке «заговорила» с Мориаком:

«Правда ли, что все государства-полисы пали из-за того, что они пренебрегали провинцией? Город пренебрегал селом?»

«Государство не может существовать без страсти. Ведь любое государство в конечном итоге — это народ. А разве может народ жить без страсти? Столица же лишает страсть ее характерных признаков. Она снимает сливки с провинции: это верно в отношении талантов, но не добродетели. Провинция поощряет чудачества, столица с ними расправляется. Провинция культивирует разнообразие человеческих типов: там никому не придет в голову краснеть из-за своего выговора или причуд. Столица навязывает нам единообразие: людей, как дома, она выстраивает в ряд, затушевывает индивидуальные особенности, делает всех похожими друг на друга».

«Но ведь столица создает культуру, развивает науку. Когда и какой народ выживал без своей культуры, без науки?»

«Но не выживет и тот народ, который будет надеяться на то, что его культура рождается только в столице. Народ — это не только культура, а тем более не наука. Народ — это и характер, и способность любить по-своему, и способность ненавидеть. Провинция одна сохранила способность ненавидеть по-настоящему, к тому же только там ненависть переполняет человека и передается из поколения в поколение. В просторных кухнях своих домов провинция хранит секреты изысканнейших блюд, а в погруженных в тишину и полумрак гостиных с полуоткрытыми ставнями — тайны тщательно вынашиваемых и неспешно приводимых в исполнение замысловатых планов мести».

«Нужно ли, чтобы ненависть передавалась из поколения в поколение, чтобы вынашивались замысловатые планы мести?»

«Не надо во всем видеть нечто большее, чем желание сохранить цельность характера, чем желание укрепить семью, сохра-

нить семейный очаг, память предков. В столице семейные узы рвутся, целостность семьи становится химерой. Мой Париж, например, враждебен семье. Провинция еще поддерживает огонь в семейных очагах. Но надолго ли?»

«И к чему это приведет, если потухнет огонь в очагах провинции?»

«На первых порах — ни к чему страшному. Просто провинция, подобно столице, превратится в “пустыню людей”. И тогда главным будет не род, а каждый человек в отдельности. Ведь в столице уже сегодня каждый ценен сам по себе. И чтобы повысить себе цену, нужно непременно обесценить кого-либо другого».

«И люди могут оправдать продвижение по трупам других».

Самвел появился неожиданно и застал ее за чтением письма.

— Ты, наверно, и во сне читаешь, — сказал он весело и уселся рядом.

— А ты, как всегда, опаздываешь.

— Ты несправедлива ко мне с самого утра.

— С самого утра?

— Это значит, с самого начала, с детства. Всегда.

— Трудно быть справедливой всегда. — Аршалуйс наклонила голову и прищурила огромные глаза от очередного порыва ветра. Как она ни пыталась угадать направление ветра, чтобы он не очень лохматил волосы, все равно густая каштановая прядь то падала на лоб, закрывая глаза, то поднималась, удлиняя лицо.

— Я хорошо помню один твой рассказ, — сказал Самвел, — в котором герой все время говорит о справедливости.

— Он не только говорит. Он делает, поступает...

— Но он поступает справедливо всегда, а ты говоришь, что «трудно быть».

— Я же не сказала «невозможно». Я сказала — трудно. И это так и есть. Трудно порой определить, что именно справедливо. Тебе не кажется, что для нашего неоригинального свидания мы ведем довольно оригинальную беседу. Да еще, как ты говоришь, с самого утра.

— Мне ничего не кажется. А почему ты так говоришь о нашем свидании?

— Потому что ты настоял на нем, а я не сумела отказать. Уж чего тут оригинального. Куда банальнее.

— Ты сегодня не в духе.

Аршалуйс смотрела на Самвела исподлобья и словно изучала лицо, которое так хорошо ей было знакомо с самого детства. Уже четверть века она знала человека и все это время никогда спокойно не могла смотреть в эти глаза. Они были не по-мужски красивы. Особенно поражали длинные и густые ресницы. Прошло столько времени! Невозможно даже измерить этот невероятный срок. Жизнь целого поколения. За такой отрезок времени поэты и математики успевали обогатить мир и обесмертить себя. А время будто ничего не смогло сделать с глазами. И виски побелели, и лоб стал светлее и выше от залысин. Все изменилось в этом человеке. Он стал мощнее, шире в плечах. Вместо торчащего когда-то кадыка вырисовывается второй подбородок. Только вот глаза остались такие же. Живые, искрящиеся. И они притягивали, как тогда. Как тогда, когда Аршалуйс так нуждалась в защите от вездесущих задир.

Дома Аршалуйс хранила целую кипу фотографий. Пожелтевших и совсем новых. На многих из них можно было увидеть Самвела. Как-то она расставила их в ряд, и словно на замедленных кинокадрах проходили перед ней метаморфозы ее сверстников, ее поколения. Везде заметно выделялся Самвел. И может, больше всего и отчетливее всего перемены были заметны в нем. Он вырослел от кадра к кадру. Лишь глаза оставались неизменными. А на одном из последних снимков глаза Самвела были так выразительны, что она пристроила фотографию в углу географической карты. Нередко думала, что всю свою жизнь любила не Самвела, а его глаза. И тогда, когда до нее дошла весть о свадьбе, и тогда, когда узнала, что семейная жизнь его не удалась, и когда узнала, что он защитил диссертацию, стал известным врачом, Аршалуйс всегда прежде всего вспоминала знакомые и любимые до боли глаза. Повзрослев, хорошо понимала, что все это глупости, какой-то фетишизм, но ничего не могла с собой поделать. Глаза притягивали, а при встрече гипнотизировали. Она боялась даже себе самой признаться, что так и не устроила свою личную жизнь из-за этих глаз. Правда, не только поэтому. Просто так получилось, что она упустила свое время. После смерти матери Аршалуйс осталась не только за хозяйку дома, но и за родителей. Трех сестер выучила, вырастила, выдала замуж. И всегда противилась разговорам о том, что она, пожертвовав собой, чуть ли не совершила подвиг, дала счастье своим младшим сестрам. При этом еще успевала писать, выпускать книги. Чего уж скрывать: встретился бы в ее жизни человек, которого она бы полюбила

так, как Самвела, тогда... На нее всегда обращали внимание мужчины. Но все вышло так, как вышло. Успокаивала себя лишь тем, что у нее есть Самвел. И глаза Самвела. Женятся и выходят замуж по любви. А какая уж любовь с логикой, серьезностью, самодисциплиной, необходимой для ее работы. Вот и жила, надеясь на чудо в будущем. Так легче жить: в надежде на будущее. Одно только плохо. Время неумолимо идет, не щадя ничего.

— А ты знаешь, у тебя глаза словно заколдованы, как портрет Дориана Грея, — сказала Аршалуйс, все еще продолжая рассматривать лицо Самвела.

— Как так?

— Не кокетничай. Я, кажется, об этом уже тебе говорила?

— Вот именно, кажется. Ты действительно не в духе.

— Ты в следующий раз надевай темные очки, чтобы я не видела твоих глаз. Как соберешься на свидание — готовь прежде очки.

— А может, пора кончать эти свидания?..

— Не понимаю.

— Можно ведь друг друга ждать с работы, провожать на работу. Можно, наконец, кончить детскую игру.

— Видишь ли, Самвел. Даже в далеком детстве мое отношение к тебе нельзя было назвать игрой. А сейчас просто грешно говорить так. Да и как было бы хорошо, если бы мы научились играть. Как тогда, в детстве. А то ведь совсем погрузнели, посолднели...

— Ты нисколько не погрузнела.

— Я не о собственном весе говорю. Грузнеть можно и душой. Ты упорно настоял на этом свидании после того, как мы месяц не виделись, предлагаешь то, чего я ждала двадцать пять лет, а я думаю: к чему это? Вот какие дела, Самвел. Помнишь, как сказал поэт: «Уже твердит, что сила страсти — ничто пред холодом ума». Месяц назад мы расстались, кажется, навсегда. И вдруг...

— Действительно, тобой командует холод ума.

— Ветер усиливается. Пойдем лучше отсюда.

— Пойдем ко мне, — предложил Самвел.

— Нет.

— Почему?

— Ты не думаешь о том, что я не могу проходить мимо твоих соседей, поедающих меня пытливыми взглядами. Ведь, наверно, некоторые из них читали меня. Что они подумают обо мне?



- И что? Всю оставшуюся жизнь теперь думать о соседях?
- И о соседях тоже.
- Тогда давай пойдем к тебе.
- У меня тоже есть соседи...
- А что, раньше их не было?

— Я и раньше переживала, хитрила. Пока вроде все шло нормально. Так сказать, пронесило. Помогла я как-то одной старухе. Дело у нее было судебное, затяжное. Прошло некоторое время. И вдруг старуха и ее старик заходят ко мне в гости. И тащут корзину: двадцать килограммов отборной клубники. Мол, варите варенье. Я засуетилась. Вернуть клубнику невозможно: оскорбишь стариков. Решила при них раздать соседям. Мол, угостили родственники из деревни. Иначе я бы нарушила собственный принцип. Достаточно, чтоб хоть один человек, читая мою статью на тему морали, с ехидцей подумал, мол, знаем, какая ты сама.

— Не понимаю, выходит, в твоём мире нельзя устраивать личную жизнь?

— Можно. Только в моем, созданном мной мире, нужно думать и о слабостях людей, считаться с ними.

— И как же теперь нам быть?

— Никак. Не надо усложнять...

— Это ты все усложняешь. Я тебе предлагаю провозить друг друга на работу, с работы встречать.

Аршалуйс отвела взгляд в сторону. Она не хотела смотреть ему в глаза. Боялась, что, как это бывало не раз, под воздействием их гипноза сдастся, уступит. Тихо спросила:

— Как поживает твой профессор?

— Почему ты спрашиваешь? — искренне удивился Самвел.

— А что, нельзя, что ли?

— Да можно. Почему нельзя? Но ты ведь просто так не спросила бы.

— Просто так ни о ком другом, может, не спросила бы. Но профессор, насколько я знаю, гордость нашей медицины. Да и к тебе имеет прямое отношение. Учитель как-никак твой, — сказала Аршалуйс, прижав к себе сумочку с письмом.

Самвел уловил это движение. Он посмотрел на сумку и, стараясь быть спокойным, небрежно бросил:

— Ты до моего прихода, кажется, читала какую-то бумагу.

— Я читала анонимное письмо.

— Ты же не раз писала об анонимщиках. Прямо как профессия какая.

- Моя профессия — журналистика.
- И что пишут о нашем профессоре?
- Пойдем, пожалуй...

\* \* \*

Узкие коридоры клиники через каждые десять дверей, то есть, десять палат, имели холлы. Их медики окрестили дивертикулами, по названию расширения просвета кишки, сосуда. В каждом из дивертикулов располагалась дежурная служба. Бадунц подошел к сестре, которая шепотом говорила по телефону. Он постоял рядом, подождал, пока сестра положит трубку, робко спросил:

- Не скажете, где сейчас Рузанна Аршаковна?
- В ординаторской, — сказала сестра, не поднимая головы.
- Я хочу попросить вас об одном одолжении.

Сестра подняла голову и улыбнулась, давая понять, что готова выслушать его.

— Мне нужно в город. Очень нужно. И вы должны помочь мне.

- Это невозможно. Инструкция...
- Мне очень нужно. Не инструкции, а мне.
- Инструкции для всех, в том числе и для вас, и для меня.

Бадунц продолжал стоять у столика, хорошо сознавая, что эту милостивую девушку бесполезно уговаривать.

Проходящая по коридору, Бадунц невольно задумался над проблемой строгого выполнения инструкций. Пришел к выводу, как невыносима была бы жизнь, если бы во всех канцеляриях сидели чиновники, которые знали бы два слова: «положено», «не положено». Никто не имеет права идти на красный свет. Но если ты очень спешишь, то, наверно, ничего страшного, если в виде исключения нарушишь правила уличного движения. Неожиданно Бадунц засмеялся, посмотрел по сторонам. К диагнозу «неизлечимая болезнь», глядишь, добавят еще один. А смеялся он лишь потому, что все его размышления в конечном итоге — тоже эгоизм. Мне можно, потому что я так чувствую. А другому нельзя, потому что неизвестно, что у него там на душе.

Бадунц остановился у ординаторской. Постоял в раздумье минуту и нерешительно приоткрыл дверь.

- Можно? — спросил он, просунув голову в дверную щель.

За столом сидела Рузанна Аршаковна, склонившись над бумагами. В ответ послышался только жесткий скрип пера.

Бадунц решил пойти в крохотный кабинет, остановился посреди комнаты, опустив руки. Лечащий врач закрыла очередную историю болезни, повернулась и с удивлением спросила:

— Что-нибудь случилось? Садитесь.

— Ничего, я постою. Если вы не разрешите, я все равно уйду. Дверь запрете, в окно...

— Однако, — сказала Рузанна Аршаковна, широко улыбаясь, — не похоже на вас. Я не понимаю, о чем речь.

— Я должен повидаться с профессором. Непременно должен.

— Вы же знаете, профессор болен. Его здесь нет. Он дома.

— Вот я к нему и хочу. Домой.

— Я решительно ничего не понимаю. Вас не приглашали. Это же, мягко выражаясь, не совсем тактично. Я уже не говорю, что речь идет о больном человеке.

Рузанна Аршаковна вновь взялась за бумаги, лежащие на столе, давая понять, что разговор окончен.

— Не надо меня стыдить, — не унимался Бадунц. — Такт — штука очень даже необходимая. Англичане говорят, без такта нет европейца. И все же, думаю, в жизни есть такие моменты, такие ситуации, когда... когда нарушаются не только этические нормы, но и законы...

Рузанна Аршаковна замерла с ручкой в руке, потом резко повернулась на стуле и в упор посмотрела на согбенного человека. Бадунц не выдержал пристального взгляда врача, невольно вытянулся, опустил голову:

— Вы ли это, Вазген Левонович? — Ей стало неловко от того, что пациент стоял перед ней навытяжку. Она добавила: — Да садитесь же. В конце концов, мне неудобно с вами разговаривать.

Бадунц сел на краешек узкой кушетки, покрытой белой простыней. Он нервничал, явно не зная, куда деть руки.

— Вы меня простите, Рузанна Аршаковна. Я, может, всю жизнь только тем и занимался, что соблюдал такт. Везде и во всем. А теперь, выходит, ругую за нарушение. Только я ведь о другом. Законы, как и этические нормы, вырабатываются человечеством исходя из реальной жизни. Из реальной жизни, но только не из исключений.

— Однако туманно, — Рузанна Аршаковна встала, подошла к окну, присела на широкий низкий подоконник и повторила. — Туманно.

— Может быть, туманно. Тема сложная, достойная диссертации. Я только хотел сказать о том, что нельзя по одним и тем

же законам и нормам жить атлету и человеку, который обречен. Об этом можно спорить, я согласен. Но лично для меня бесспорно: если я не увижу профессора, то мне не будет покоя. Соблюдение правил не должно приводить к трагедии.

— Не слишком ли вы драматизируете эту самую, как сами назвали, ситуацию? Кстати, я никак не уловлю все до конца.

— Мне необходимо поговорить с профессором.

— Человек болен. Потом поговорите с ним.

— Я же знаю, чем он болен.

— Вы слишком много знаете.

— При нашей болезни нельзя запрещать общение с больным. Это не инфаркт...

— Если бы инфаркт!.. Мы знаем больных, которые перенесли инфаркт и не единожды, и ничего себе, живут по десять, а то и двадцать лет. А тут... Вы меня заставляете нарушать медицинскую деонтологию...

— Я хотел бы, чтобы профессор назвал мне срок. Вы понимаете... По его трудам я понял, что он это делает практически безошибочно.

— Я сама могу назвать сроки.

Бадунц встал с места. Лечащий врач подошла к столу, села на вращающийся стул, достала из ящика тетрадь и стала перелистывать. Бадунц остановился посреди кабинета, опустил руки, как бы ожидая приговора. По всему было видно, что он никак не ожидал такого оборота. Ему обещали так запросто назвать срок, который его больше всего волнует.

— Не томите меня, Рузанна Аршаковна, — нарушил он недолгое молчание.

— Вы, наверно, меня не так поняли. Ни я, ни профессор, ни Бог не назовут вам никаких таких сроков. Я хотела вам сказать то, о чем вы, как мне не раз говорили сами, читали в медицинских книгах. Все и вся зависит от стадии болезни. Вы лично можете быть спокойны. Пока ваша болезнь находится в такой стадии, что никто не сможет определить сроки. Так что нечего гадать и мучаться! Другое дело с профессором. Там все ясно. Он уже знает срок чуть ли не с точностью до одного дня... — Она не смогла закончить фразы: ком подступил к горлу. Но довольно быстро взяв себя в руки, спокойно завершила: — Хватит, пожалуй. У меня дела.

— Я умоляю вас, велите дать мне одежду. Я уверен, наступит день, когда вы пожалеете о том, что не разрешили мне по-

сетить профессора, Рузанна Аршаковна... Вы же самый красивый человек на свете...

— Ой! Как это вам не идет!

— Понимаю, — сказал Бадунц, чувствуя, как горят щеки от неловкости, — я никогда не мог говорить комплименты.

— Оно и видно. Чтобы не соврать, назвали меня «человеком». Побоялись сказать «женщина».

— Ну зачем вы так? И женщина...

— Закончили. Я обещаю только... — она не успела завершить мысль, как раздался телефонный звонок.

Бадунц с обидой посмотрел на аппарат, который не дал возможности узнать, что именно обещает врач. Рузанна Аршаковна взяла трубку. Послушала лишь мгновение и спокойно сказала:

— Хорошо. Пусть поднимется. А ты позови к телефону старшую сестру, — она прикрыла рукой трубку и едва слышно прошептала, обращаясь к Бадунцу: — Я из-за вас иду на преступление. Как видите, ваш комплимент все-таки сработал... — Рузанна Аршаковна строгим голосом скомандовала в трубку: — Принеси одежду больного Бадунца... Да, сейчас.

Когда благодарный Бадунц с подчеркнутой осторожностью закрыл за собой дверь, Рузанна Аршаковна подошла к окну и уставилась на крохотный, симпатичный фонтанчик, установленный в центре больничного дворика. Еще совсем недавно из окна можно было обозреть захламленный каменистый пустырь. Строители, как это вошло в правило, сдали объект, оставив вокруг здания весь мусор, хотя обещали убрать. Чуть ли не каждое утро начиналось с ворчания персонала, мол, когда уберут мусор и как это был подписан акт о приемке здания. Все были уверены, что строители не выполняют своего обещания. Не придут они после того, как акт подписан, убирать двор и доделывать тысячу и одну мелочь. Больше всех выражал недовольство Самвел. Новоиспеченный тогда доцент, он ругал строителей, иногда проходясь и по Министерству здравоохранения, которое приняло объект. Ругал, хотя хорошо знал, что на подписании акта настоял сам профессор, для которого врагом номер один всегда было время. В старом одноэтажном помещении не то что больных негде было по-человечески лечить, но и накопилось уже огромное количество дорогостоящего медицинского оборудования, которое не только морально устаревало, но и просто портилось от «безделья». Лучше с первого же дня начать хлопоты по капитальному ремонту, чем ждать,

пока наведут лоск. Слишком дорого обходится время, которое идет на его наведение. Если, конечно, наведением лоска можно назвать то, что непосредственно входит в разряд строительных работ.

Рузанна Аршаковна вспомнила, как уже в первую субботу профессор вышел на работу со всеми сотрудниками клиники. Следующей субботы не ждали: задерживались после работы. Выяснилось, что муж одной из лаборанток занимает ответственный пост в комитете по лесному хозяйству. И уже на следующий день к клинике подкатила машина с посадочным материалом, с дёрном. Профессора особенно порадовали серебристые ели, за которыми он ухаживал с особым удовольствием. Как-то он даже предложил установить фонтан посреди двора и обсадить его кипарисовыми кустиками. Нашлись у сотрудников родственники, которые за неделю бесплатно сотворили настоящее чудо. И когда забил шумный фонтан, профессор под всеобщий смех подставил седую голову под струю воды. Хохотали врачи и сестры, больные и строители фонтана. Хохотала и Рузанна, которая уже тогда догадывалась, что профессор болен. И сейчас, глядя в окно на фонтан, она вспомнила последний разговор у него дома, куда заходила в неделю раз, а то и два, чтобы вместе с дочерью-школьницей профессора провести генеральную уборку, пропылесосить, собрать вещи для химчистки. Пять лет уже она навещала этот дом. Через год после того, как погибла жена профессора. И все пять лет хозяин дома противился. Однако усилия его оказались тщетными. Слишком решительной и упрямой была сама Рузанна, да и дочь-школьница привыкла к ней и ее визитам, после которых дома всегда становилось уютнее. В последний раз профессор почему-то заговорил о церкви. Речь зашла о том, что одна из сотрудниц ушла от мужа, и профессор, который редко поддерживал беседы на тему, как сам называл, о семье и быте, вдруг разошелся. Его словно прорвало. Он, крупный ученый, которого в старину называли бы естествоиспытателем, заговорил о церкви, которая сохраняла семью, устои семьи. «Человечество не от глупости, а от мудрости выработало домострой, — сказал он в той беседе. — На нем держался строй дома, домашний строй. И это узаконила церковь. Раньше ведь во всей округе вряд ли нашлась бы хоть одна семья, где муж бросил детей или жена ушла от мужа. А теперь сидят перед тобой на утренней пятиминутке женщины в белых халатах, и чуть ли не у половины, по слухам, какая-то семейная неустроенность. К чему

идем?» Последний вопрос, профессор, как чувствовала Рузанна, задал, имея в виду и ее тоже.

Как говорится, на заре семейной жизни счастье ее оборвалось. Муж Рузанны Аршаковны оставил ее с двумя крохотными детьми на руках. Вначале, как сама себе признавалась, запаниковала: как же без мужа? Но постепенно чувство реальности взяло верх. Вспомнила, как однажды в клинике поднялся переполох: молоденькая сестра родила ребенка, как говорили, допрыгалась. Ее предупреждали, мол, не доведет до хорошего такая вот праздная жизнь: сегодня с одним, завтра — с другим.. А теперь — один позор. Обо всем этом почему-то судачили на профсоюзном собрании. Рузанна не раз вспоминала, как профессор неожиданно для всех вскочил с места и буквально заорал. Все обомлели. Бывало, голоса его не слышно, а тут — прямо гром. И как побледнел! Как волновался! Говорил взхлеб, словно сам себя перебивал. Все стыдил себя за то, что позволил себе сидеть и слушать эти издевательства. Родился человек, а тут все вдруг стали судьями. Ребенка кормить надо, а не болтать о том, каким образом он появился на свет. На свет появился человек, который ни в чем не виноват. Он человек! А все в один голос говорят о матери. Поздно. Думать сейчас надо только об одном: о молоке для малыша, о крове для матери с ребенком.

И оставшись с двумя детьми, Рузанна думала только об одном. Выстоять ради того, чтобы дети имели молоко. Все остальное — это химера. Она благодарила про себя профессора за тот урок. Знала, что урок не всем пришелся по душе. Особенно доценту, который в то время был председателем профкома. При профессоре он, конечно, ничего не сказал, но после по поводу и без повода все твердил: профессор оправдывает аморальную жизнь своих сотрудников. Всегда в любом коллективе находятся такие моралисты, которым кажется, что они имеют право осуждать поступки и поведение своих современников. Они считают, что мир рушится на их глазах, потому что кто-то безнаказанно топчет все без исключения моральные ценности...

Мысли Рузанны перебил скрип двери. Дежурная по приемному покою ввела в ординаторскую больного.

\* \* \*

В приемную начальника управления Аршалуйс Гукасян вошла в точно назначенное время. Секретарша начальника,

молодая женщина, ловко встала с места, завидя в дверях известную журналистку.

— Проходите, садитесь, пожалуйста, — бодро и приветливо предложила она, — Михаил Сергеевич предупредил меня о вашем визите. Я сейчас доложу.

Аршалуйс обратила внимание на двух молча сидящих в приемной женщин. Как только секретарша скрылась за массивной дверью кабинета, она услышала свое имя, догадавшись, что женщины говорят о ней. Даже уловила каким-то чутьем их желание заговорить с ней, журналисткой. Из опыта своей работы она знала, что в приемных различных начальников обычно сидят в терпеливом ожидании робкие люди, вопросы которых не решились на более низких инстанциях. Одна из женщин, осмелев, обратилась к ней, но в это время в дверях показалась секретарша и с улыбкой предложила журналистке войти в кабинет.

Пока Аршалуйс добиралась по ковровой дорожке до могучего полированного стола хозяина кабинета, она думала не о тех двух женщинах, которым теперь из-за нее придется ждать еще, не о разговоре с начальником. Она думала о секретарше. Встречая в приемных разных начальников молоденьких девушек, как правило, хорошо и модно одетых, с гордым и независимым взглядом, Аршалуйс недоумевала: почему бы на это место, требующее в основном аккуратности, дисциплины и серьезности, не брать пожилых женщин. Ведь многие из них уходят на пенсию в пятьдесят, пятьдесят пять лет. Трудно поверить, что в таком возрасте они хуже справятся с секретарским делом, чем юные девицы, которым надо заниматься не то что более полезным, а соответствующим хотя бы возрасту делом.

Аршалуйс успела мельком разглядеть интерьер кабинета. Все стены были обшиты светлым ясенем. Красочная дорожка завершалась пышным ковром, на котором стоял ясеневый стол. Чуть поодаль вдоль стены с тремя окнами вытянулся еще один длиннющий стол с двумя телефонами и ровными рядами мягких кресел.

Хозяин кабинета, улыбаясь, протянул руку, предложил сесть. Справился о том, что она будет пить: кофе или чай.

- Я только по утрам пью чай, — сказала Аршалуйс.
- Ну, стакан свежесваренного чая не помешает и днем.
- Вы же не можете с каждым посетителем пить чай.
- Зачем с каждым! В кои веки является твоим гостем знаменитый журналист.



— Благодарю. Кстати, о гостях. Там сидят две женщины, довольно пожилые. Мне как-то неловко.

Начальник нажал на кнопку, и тотчас же в кабинет вошла секретарша. Прошла до середины и остановилась, словно на ковровой дорожке было обозначено специальное место.

— Слушаю вас, Михаил Сергеевич.

— Что там за женщины ожидают в приемной?

— Те самые, Михаил Сергеевич. Те, которых сократил директор...

— Как сократил? — спросила Аршалуйс и неожиданно для себя громко засмеялась.

— Речь, конечно, идет о сокращении штатов, — вставил начальник. — Прямо беда. Поступило официальное распоряжение о сокращении штатов в научно-исследовательских институтах на целых десять процентов. Вот и шум теперь на весь город.

— А может, вы сейчас примете этих женщин? Я не помешаю. Это даже интересно.

— Почему бы и нет. Пригласи их, — велел хозяин кабинета секретарше.

Женщины вошли в кабинет. Секретарша подала обеим стулья. Аршалуйс подошла к длинному столу. Села у самого края, положив перед собой блокнот.

Начальник заговорил первым. Он сказал о повсеместном сокращении штатов. Говорил толково. Женщины молча слушали. Иногда только вставляли словечко. Потом заговорили по очереди. Аршалуйс время от времени делала пометки в блокноте. Женщины приводили аргументы в свою пользу. Одна говорила, что вот уже тридцать лет работает в одном и том же месте и за все время не имела ни одного выговора. Другая перечисляла свои награды и благодарности. Всяких там сопляков оставляют в институте, а их, заслуженных, опытных специалистов увольняют, так сказать, сокращают. Одна из посетительниц обвинила во всех грехах не только директора института, но и самого министра, который, видите ли, сын врага народа, а теперь преследует честных, принципиальных людей...

Когда женщины ушли, Аршалуйс пересела и глубоко вздохнула.

— Видите, какая у нас жизнь? Попробуй задень кого-либо...

— Да. Эти женщины еще попортят вам нервы. И не только вам. Однако, не кажется вам, что таких вот жалоб было бы

меньше, если бы необходимые сокращения штатов проводились по определенному принципу?

— О каком принципе может идти речь, если половина сотрудников наших институтов такие вот склочники. Это еще ничего. Там есть такие, что попробуй только тронь. Хлопот не оберешься.

— И я вот, представьте себе, пришла по поводу такого же склочного дела. Анонимное письмо. Причем, заметьте, редакция не может не заниматься этим письмом, потому что это копия.

— Я, знаете, все удивляюсь. И, скажу честно, не только я. Мне жалко вас.

— Не понимаю.

— Простите, я не так выразился. Мне жалко ваш талант.

— Не понимаю.

— Вы уже известный писатель. Может, сами не знаете, как много у вас читателей. Ваши книги нарасхват. Честно могу признаться, вся моя семья читает ваши рассказы с большим удовольствием. Бывает, не успеешь домой зайти, как домочадцы спрашивают о рассказе Аршалуйс Гукасян в сегодняшнем номере журнала или в газете... Такой вот талант, а вы занимаетесь какой-то мелочью пузатой, склочниками, анонимщиками. Может, сами не догадываетесь, но у вас масштабы другие.

— За столь лестную оценку — спасибо. Поблагодарите, пожалуйста, ваших домочадцев за внимание к моим рассказам...

— Я был бы огорчен, если бы вы меня неправильно поняли. В ваших рассказах — всегда мужественные герои. Ситуации вы описываете трудные, исключительные. И характеры ваших героев раскрываются...

— Да, я люблю писать о сильных людях. Но вынуждена с вами не согласиться, что я не должна заниматься, как вы изволили выразиться, «мелочью пузатой», всякими там склочниками и анонимщиками.

— Вас это принижает.

— Никогда не задумывалась над этим. Только хотела бы сказать, что и сильные и мужественные люди тоже нуждаются в защите. А может, и в первую очередь.

— Уж не профессора Алатуни вы имеете в виду?

— И его тоже. Умный и некогда сильный человек. Но вышел из строя.

— Во-первых, профессор болен, и болезнь его ну никак не связана с анонимкой.

— Тем более, если он болен...  
— Давайте откровенно.  
— Давайте.  
— Вам не кажется, что дыма без огня не бывает? Ведь не о всех пишут...

— Да уж, верно. Еще никто никогда не писал пасквиль на серость, посредственность, на бездельника, простите, на негодя. В том-то и дело, что пишут на умных, на деловых, на требовательных. А такие, как правило, бывают натурами тонкими, хрупкими. И об этом тоже знает аноним, который любит бить лежачего. Его ведь за руку не схватишь. Он словно в шапке-невидимке. Указывает имя и адрес своей жертвы, но собственное имя скрывает...

— Я, конечно, с вами согласен. Уверен, анонимщик — это жалкий и трусливый тип. И тем не менее...

— И тем не менее вы собственноручно накладываете резолюцию на анонимное письмо. Требуете разобраться, расследовать. Но и этого мало. Требуете, чтобы вам ответили. Требуете не только доложить о результатах расследования, но и вернуть анонимное письмо. Вы своей резолюцией, своей печатью на уголке анонимки превращаете пасквиль в официальный документ...

— Мне не нравится ваш тон.

— Извините меня за тон. Кто-то сказал, что тон — это дело техники. Его можно изменить. Главное — суть...

— И вы меня простите. Но вы говорите так, словно я сам писал эту анонимку. Или будто вы больше моего презираете этих сволочей. Обзавелись пишущими машинками и строчат из них, как из пулеметов. И стреляют прицельно, в яблочко норовят.

— И тем не менее, вы накладываете резолюцию...

— А вы как бы поступили?

— Я бы рвала такие письма, не дочитав до конца.

Начальник улыбнулся. Расплывчатое лицо засияло. Грузное тело словно провалилось в глубокое кресло. Судя по всему, он, расслабившись, вытянул ноги. Но в следующее мгновение весь напрягся, приподнялся в кресле, все еще продолжая улыбаться. Раздался телефонный звонок. И от улыбки хозяина кабинета не осталось и следа. Он нарочито нехотя поднял трубку, извинившись перед посетительницей, долго слушал, а потом бросил одно слово: «Нет!».

— Так на чем мы остановились? — спросил он, довольный собой.

— Я сказала, что порвала бы письмо.

— Да нет, дорогая, вы не так сказали. Вернее, вы не только это сказали. Вы еще добавили: «не дочитав до конца». Значит, все-таки начали бы читать. А там уж, если не интересно, можно, глядишь, не дочитать. А если там вдруг страсти-мордасти да еще об известном человеке, строптивом....

Аршалуйс почувствовала, что проигрывает. Она подумала о том, что начальник готовился к разговору с ней. Не только прочитал все ее статьи об анонимщиках, но, как видно, заново просмотрел дело профессора. Иначе не вел бы себя так уверенно. Хотя о нем, начальнике управления, давно шла молва как о человеке, уверенном в себе. Поговаривали, что у него кто-то есть там наверху, что однажды при целой толпе он небрежно бросил, мол, оставьте вашу демагогию, я сам профессор демагогии.

— Собственно, почему вам показалось, что я хотела сказать не то, что хотела?

— Не понимаю, — коротко бросил начальник управления, стараясь быть подчеркнуто спокойным.

— Не дочитав анонимки, выбросить письмо — это ведь уже неплохой, согласитесь, метод борьбы.

— Не остроумно. Я имею в виду не юмор, а саму остроту ума. Ведь, если, скажем, я не дам анонимкам хода, то завтра потекут реки писем на меня. Легче, конечно, говорить: «Порвал бы, не дочитав». Почти как в сверхсекретном учреждении, куда поступила депеша с грифом: «До прочтения сжечь».

— Это уже, пожалуй, остроумно. И, если хотите, в этом есть даже великий смысл. Именно так и надо поступать с анонимными письмами: «До прочтения сжечь!» Иные предлагают бросать в корзину. Но из корзины можно вытащить. Так что идея, можно сказать, идеальная. Сжечь!

— Идея-то, может, идеальная... но только в идеале. А жизнь, как известно, штука, далекая от идеалов. Вот вы упрекнули меня в том, что я наложил резолюцию на анонимное письмо. Я же не могу один в целом полку идти не в ногу, не могу играть, нарушая общепринятые правила игры. А ведь и на меня пишут. Тут уж никого не упрекнешь. Вызывают тебя в один из кабинетов, показывают анонимку, написанную на тебя. Заметьте, не отдают в руки, а показывают. Это для того, чтобы ты увидел на одном из уголочков печать, штамп. Становится тошно. Иногда из соображений гуманных дают все-таки прочитать. Но прочитать тут же, не выходя из кабинета. Думаешь о разном. И о том,

что хозяин кабинета в эту минуту тебе не завидует. И о том, черт возьми, что вдруг все это он и организовал...

— Выходит, вы все это пережили и, тем не менее, подписываете приговор другому человеку.

— Я не приговор подписываю. Я не прокурор. А даю распоряжение, чтобы тщательно провели расследование. Если человек не виноват, то чего ему бояться? Проверят, выяснится. И весь разговор.

— И весь разговор...

— Да, именно так. Тщательно проверят. И спасут человека. Никто не посмеет его тронуть пальцем, если, конечно, не виновен. Вы знаете, иногда я думаю, что без анонимок и жить нельзя.

— Вы так думаете?!

— Если хорошенько призадуматься, то анонимки — это неплохой источник информации.

— Вы в этом уверены?

— Более чем. Время нынче такое, — сказал начальник управления.

— А при чем тут время? — спросила Аршалуйс.

— Нынче люди боятся мести начальства. Боятся, что правда выйдет боком, из борца за справедливость превратишься в обыкновенного жалобщика, склочника. Вот и вынуждены пользоваться таким методом.

— Бедненькие...

— Вы иронизируете, а жизнь показывает, что в большинстве случаев в анонимных письмах пишут правду. Не надо все сваливать в одну кучу. Могу вас заверить, что среди анонимщиков бывают честные люди...

— Знакомая песенка...

— Это не песенка. Это жизнь. Опыт. Никто ведь не виноват, что время нынче такое. Уж попробуй тронь в открытую начальство.

— Но ведь вы сами начальство.

— А что я! Я тоже жертва времени...

— Еще поэт писал: «И не рассказывай мне, брат, что это время виновато, а ты совсем не виноват». Согласитесь, как философская категория время существует само по себе. Имеет всего лишь одно измерение: от прошлого к будущему. Оно, выходит, виновато, а брат, доносивший на брата, или сын, предавший отца, не виноваты ни в чем. Общество, нуждающееся в информации от анонимщика, — это корабль, идущий ко дну. Словам этим более двух тысяч лет. Но мы-то знаем,

что наш корабль держится на воде уверенно. Зачем нам нужна информация, полученная сомнительным путем? Сильные люди не нуждаются в подобной информации. Поддерживая анонимщика, мы расписываемся в собственной беспомощности.

— Мне кажется, вы слишком много себе позволяете.

— А почему, собственно, мне не позволять себе? Я — гражданин своей страны и дочь своего времени. Извините за громкие слова, но именно я в ответе не только за свою страну, но и за время, которое у вас почему-то вызывает подозрение. И я об этом времени написала более двадцати книг...

Вновь раздался телефонный звонок. Начальник управления с той же небрежностью поднял трубку. Выслушав, посмотрел на стенные часы, затем почему-то на ручные и деловито сказал: «Минут через пять-десять, я вам позвоню». Аршалуйс намек уловила. Пора закругляться. Но о самом главном она пока словом не обмолвилась. И когда хотела начать разговор о письме, начальник управления опередил ее:

— Вы, писатели, склонны свои эмоции смешивать с реальной действительностью. Хотя понимаю — без эмоций писателю никак нельзя. Однако нам, чиновникам, приходится в своей работе иметь дело с фактами. А факты порой сильнее...

— Вот я и хотела о фактах. Мы как-то отвлеклись, ушли от темы. Речь о профессоре. Прежде чем наложить резолюцию на анонимное письмо, вы, я надеюсь, прочитали его до конца.

— А как же? Мы читаем до конца. — Начальник управления подчеркнул это самое «мы», давая понять, что все руководители поступают именно так, как поступает он.

— В письме написано, что у профессора квартира вся облицована мрамором.

— Но ведь в письме не только о мраморе говорится.

— И все же как быть с мрамором?

— Да никак. Напишем...

— Напишем?

— Да, напишем: письмо нам переслали сверху. Напишем, что этот самый мрамор не соответствует действительности.

— Ну, а за вранье анонимщик не будет наказан?

— Вы смеетесь?

— Я вовсе не смеюсь. Мы — государство. Мы имеем государственные институты. Кто-то написал пасквиль. Значит, можно, наверно, все силы направить не на проверку сомнительных фактов, скажем, о мраморе, а на поиски пасквилянта,

которого нужно судить согласно такой-то и такой-то статье уголовного кодекса. Главное — статья-то такая есть.

— Дался вам этот мрамор. А если выяснится, что другие факты подтверждаются? Как же тогда быть с анонимщиком?

— В письме говорится, что профессор бросил жену с ребенком... Но вы лучше, чем кто-либо, знаете, что жена профессора погибла в автомобильной катастрофе. И этот несчастный человек из-за дочери так и не женился.

— Однако вы, я вижу, изучили предмет вашего исследования.

— Не предмет, а человека. Да, изучила. В письме далее написано, что отец профессора был врагом народа. Хотя вы сами знаете, что это не так. Он был в свое время репрессирован. Но давно реабилитирован, восстановлен в партии... В письме говорится, что профессор часто разъезжает и это подозрительно. Хотя вы и мы знаем из печати, что профессор избран почетным членом различных научных обществ, во многих странах печатаются его монографии. И все это приносит нам только честь.

— Уж не хотите ли сказать, что вы больше моего патриот? А то ведь нынче мода пошла: играть в патриота, даже спекулировать этим большим чувством.

— Плохая мода. Патриотизм — это не шляпа, которую можно менять по сезону. Да и при чем здесь мой или ваш патриотизм? Речь идет об ученом, которым может гордиться каждый наш современник.

— Но речь в конце концов не только об этом. В анонимке написано, что профессор, прежде чем назначать лечение, спрашивается о зарплате. Что вы на это скажете?

— Ничего не скажу. Просто возьму и не поверю в глупость.

— Уж не хотите ли вы сказать, что врачи не берут.

— Мы говорим конкретно о профессоре Сурене Самсоновиче Аматауни.

— Известность не есть страховка от взяточничества. Это я, конечно, не о нем, а вообще. Что же касается Аматауни... Предварительная проверка уже показала...

— Предварительная проверка? — Аршалуйс встала с места и продолжала говорить стоя: — Выходит, одна проверка была предварительной, а теперь, так сказать, очередь капитальной проверки?

— Да вы не волнуйтесь. Я говорю всего лишь о проверке фактов. А ведь это письмо — только капля, переполнившая чашу. Есть факты, говорящие о том, что профессор Аматауни не

может быть руководителем института. Он груб, вспыльчив. Человек настроил против себя молодых врачей, перспективных ученых. Заносчив... Так что проверим...

— А кто проверит?

— Как кто? Для этих целей специально создается комиссия...

— Кем создается и из кого?

— Слушаю вас и все никак не могу понять, чего вы хотите? Уж не заинтересованы ли лично?..

— Заинтересована. Я очень заинтересована в том, чтобы человек не только сохранил свое доброе имя, но и сам «сохранился».

— И мы этого хотим. Вот проверим...

— Кто проверит? — Аршалуйс стала убирать блокнот и карандаш в небольшую сумку. Она старалась не выдать своего волнения, которое почему-то охватило ее.

— Я вам уже говорил, кто проверит. Комиссия управления.

— Какого управления?

— Как какого? Моего. Нашего управления.

— Сколько научно-исследовательских институтов в ведении вашего управления?

— А вам зачем?

— Интересно. Думаю, это не секрет.

— Не секрет. Три института.

— А для чего трем институтам целое управление со своим аппаратом?

— Ну, об этом не вам судить, и не вам это решать!

— А почему, собственно, не мне? Почему вы занимаетесь сокращением штатов? Есть директор института, который лучше вас знает положение. Не кажется ли вам, что сокращение можно начать с самого управления, которое почему-то занимается не наукой, а созданием комиссий, проверкой фактов по анонимкам?

Начальник управления демонстративно пренебрег последними словами Аршалуйс. Он посмотрел на свои часы, перевел взгляд на телефон, давая понять, что должен позвонить. Неожиданно для своей собеседницы он широко улыбнулся и тихо сказал:

— Уж простите меня за прямоту, но, скажу честно, никогда я не понимал поэтов, писателей, словом, людей пишущих. Какие-то вы все не от мира сего. Нет, поймите меня правильно. Какие-то... мечтатели...



— Спасибо за беседу. Я вижу, ваше время не ждет. А по поводу поэтов и всяких там пишущих хотелось бы вспомнить одного шаха!

— Шаха? — Начальник управления просиял. Вздохнул облегченно, радуясь, что неприятный разговор, наконец, завершен, а теперь дело за анекдотами. И чтобы задать нужный тон, весело сказал: — Говорят, на каждого шаха есть свой ая-толла.

— Шах пригласил к себе поэта, — начала Аршалуйс, не поддержав шутливый тон собеседника, — и сказал, что решил поставить памятник. Памятник поэту. Шах, оказывается, успел на старости лет уяснить для себя, что народ рано или поздно сносит памятники шахам, а поэтам — возводит навеки. И шах решил сам поставить памятник поэту, но внизу постамента пусть хоть самыми крохотными буквами запечатлеть свое имя. Только так он мог рассчитывать на увековечивание себя...

— Думаю, если вы и дальше посвятите себя борьбе с анонимщиками и всякой там, повторяю, мелочью пузатой, — начальник управления громко засмеялся, — то вам народ памятник не поставит.

— Может быть, — строго сказала Аршалуйс, — думаю, если вы и дальше будете оправдывать такую мелочь пузатую, как анонимщики, то шахом никогда не станете...

\* \* \*

Бадунцу объяснили, где живет профессор. Он слушал рассеянно. Выходило три остановки троллейбусом. Но от транспорта он отказался. Он шел по улице Абовяна до Саят-Новы, чувствуя слабость в ногах. Второй месяц в больнице, отвык от длительной ходьбы. Ловил себя на мысли, что другими глазами смотрит на родной город. Родился и вырос в Ереване, помнил еще пору, когда главную улицу, по которой он сейчас спускался вниз, называли Астафьевской. Все-таки упоительное это чувство — чувство хозяина. Хозяина целого города.

Бадунц всегда гордился своей профессией. Бывало, обижался, когда историю связывали лишь с датами и именами полководцев. История — это «память всех поколений». Бадунц очень любил повторять эти слова. Если ты изучаешь историю родного города, то должен знать, когда и в какой рукописи он впервые упоминается, когда враг разрушал его, когда впервые пошли фаэтоны по Астафьевской улице и трамваи по Абовяна,

почему раньше улица Туманяна называлась Докторской и все такое прочее. Историк должен знать даже, на какой почве построен его родной город. Гигантские железобетонные шестигранники, которыми обложена улица Абовяна, лежат на бурой, большей частью карбонатной, малогумусной почве. И Бадунц запоминал это не для того, чтобы кого-либо удивить, так сказать, глубиной своих познаний. Он в свое время изучал историю родного города и знал о Ереване все, что можно знать. Таков его принцип. Принципа этого он придерживался во всем. Как-то несколько сезонов страстно болел за любимую футбольную команду «Арагат». Но он не просто болел, как болеют миллионы и миллионы. Он это делал по своему неизменному принципу: знать все, что можно знать. И уже не понимал тех, кто без конца спрашивается у каждого встречного-поперечного: когда играет «Арагат» очередную игру? Как сыграл «Арагат» накануне? Сколько очков набрал, сколько осталось игр до окончания первого круга? Да мало ли какие вопросы возникают в футбольный сезон. А ведь еще надо помнить о самих футболистах, о забитых и пропущенных мячах, о «купленных» и объективных арбитрах... Бадунц знал все. Он иначе не мог. Правда, теперь он, можно сказать, ничего уже не знал о футболе. Но это тоже — принцип Бадунца. Или знать все, или ничего не знать. Если начисто лишился страсти болельщика, то чего пыжиться. Философствовал: страсти лишился потому, что «Арагат» стал плохо играть, хуже некуда. И «Арагат» стал плохо играть потому, что Бадунц перестал болеть по-прежнему. Такой вот заколдованный круг.

На углу Абовяна и Саят-Новы Бадунц остановился перевести дыхание. В голову лезли противоречивые мысли. И он не старался их отгонять. Ему почему-то не хотелось думать о главном: зачем он спешит к профессору? О чем будет говорить с человеком, который сам страдает? И даже, как говорила лечащий врач, находится на более тяжелой стадии болезни. Бадунц боялся предстоящего разговора еще из-за своего принципа: знать все, что можно, о предмете своего исследования. Знать даже точную дату смерти.

\* \* \*

Дверь открыл худощавый человек в домашнем халате. Бадунц обратил внимание, что лицо профессора землистого цвета, а халат слишком велик для хозяина. Словно с чужого плеча. Вспомнил, что еще недели полторы назад профессор выглядел

куда свежее. По крайней мере, так не бросались в глаза цвет лица и худоба.

— Сурен Самсонович, — сказал, краснея, Бадунц, — я...

— Проходите, — предложил профессор, — меня предупредили.

— Неужели Рузанна Аршаковна? — удивился Бадунц.

— Кто же еще? Проходите.

Бадунц поглядел на свои ноги, но хозяин дома уловил мысли гостя:

— Не вздумайте только снимать обувь, у нас не принято. И вообще, знаете, это не принято в христианском доме. А я христианин. Мало того — внук священника.

Бадунц оказался в просторной столовой, обвел взглядом множество книжных полок и вслед за хозяином прошел в небольшую комнату, которая, судя по всему, служила рабочим кабинетом профессора.

— Устраивайтесь в этом кресле, — предложил хозяин. — И объясните мне...

— Я, профессор, не мог не прийти к вам...

— Я понимаю. Хотя, честно говоря, ничего не понимаю.

Бадунц сознавал, что нельзя тянуть с главным вопросом, ради которого он решился на такой шаг. Только — быка за рога. И состояние профессора, как видно, тяжелое. Тут тянуть — просто грешно. И он выпалил:

— Я узнал, что вы, профессор, болеете, вернее, что у вас точно такой же диагноз. То есть, совсем такой же, как у всех тех, кого вы лечите сами... Как у меня...

— Теперь совсем непонятно. Выходит, если профессор заболел гриппом, то все гриппозники должны навещать его.

— У нас с вами не грипп. К несчастью...

— Ну, это еще неизвестно — к счастью или несчастью.

— Нельзя же сравнивать какой-то грипп с неизлечимой болезнью.

— Пожалуй, нельзя. И, пожалуй, можно. Умирают и от того, и от другого. Как вообще умирают от любой болезни. Все же я никак не могу уловить... Уж извините меня, но это действительно так. Вы у меня дома, и я будто допрашиваю. Не для того же вы пришли, чтобы убедиться...

— Я хочу узнать, сколько мне осталось жить?

— Вы ошиблись адресом. Я профессор медицины, а не гадалка.

— Я понимаю вас, Сурен Самсонович... Моя специальность — античность. Легенды и мифы Древней Греции. Вообще-то я историк...

— И вы полагаете, что сама ваша специальность позволяет...

— Нет, профессор, все иначе. Просто специальность обязывает знать греческий и латынь. И я действительно владею этими языками. Прочитал ваши монографии и статьи. На терминах не спотыкался. Корни их взяты из греческого и латыни.

— Видите ли, современники Гиппократы читали труды знаменитого врача на своем родном языке. Однако не думаю, что им все там было понятно. И я свои монографии и статьи писал не для вас. Хотя вы и владеете классическими языками, но вы не врач.

— Монографии и статьи других медиков я не читал. Ваши имеют непосредственное отношение ко мне. У меня создалось впечатление, что вы знаете все о нашей болезни. Вплоть до того, сколько каждому осталось жить в каждом конкретном случае. Говоря о прогнозах, вы делаете математические выкладки. На их основании можно довольно точно определить сроки, как говорится, оставшейся жизни.

— Никаких чудес. Медицина — наука. А любая наука так или иначе зиждется на математике. Нельзя, например, измерить кровяное давление у одного человека или даже у тысячи и определить так называемую «норму» для всего человечества. Все надо учитывать. Возраст и характер труда. Время суток и настроение. Перенесенные болезни и наследственность. И еще бог весть что. И тогда мы говорим не о некоей норме, а о реальном состоянии каждого отдельного организма...

— Ловлю вас на слове, профессор. Я об этом и толкую. Именно — каждого отдельного организма. Вот я и есть отдельный организм. Несколько лет назад впервые почувствовал сердце. Появились боли, отдавало в лопатку. Врачи поставили диагноз: стенокардия. Прочитал несколько статей. И что бы вы думали? Иногда люди с этой болезнью живут десятки лет. Правда, и двадцать дней могут стать пределом. Как-то попала брошюра о сахарном диабете.

— А говорили, что читаете только то, что имеет непосредственное отношение к вам.

— Ваша правда. Но все же прочитал и ту брошюру. И опять же: такие больные могут жить двадцать, а то и тридцать лет. Благодать, а не прогноз. Двадцать лет — целая вечность. Но вот в ваших книгах — совсем о других сроках идет речь.

— И мои расчеты — это показатели среднестатистических величин. Никуда от них не денешься.

— Вы приводили пример, когда с точностью до одного дня определяли срок жизни больного.

— Тот пример ничего общего с вами не имеет.

— Сурен Самсонович, мне нельзя не знать...

— Я могу лишь сказать о себе. До Нового года дотяну.

— Вы шутите. До Нового года осталось меньше месяца.

— Думаю, этого хватит, чтобы завершить одну работу. Можно сказать, главную работу моей жизни. Если удастся завершить, то, думаю, придется изменить название нашей с вами болезни.

— Как так?

— Ну, название, может, не изменится, но вот неизлечимой ее никто не назовет.

— Вы шутите, профессор.

— Нисколько. Только не надо думать, что со дня опубликования работы болезнь исчезнет. В тот день, когда Кох нашел туберкулезную палочку, ничего особенного не произошло. Люди продолжали умирать от чахотки. И сейчас умирают. Но врачи с того дня поняли, что туберкулез — не рок, не фатализм. И победили болезнь. По крайней мере сегодня мы не шархаемся от одного только слова «чахотка». Да и слово это нынешнее поколение уже не знает. Люди даже не задумываются, какое счастье выкинуть из памяти слово, которое приводило в ужас миллионы людей. А пока... Пока надо бороться. Пока надо рассчитывать на великие компенсаторные возможности организма, на то, что он может выкинуть любой сюрприз.

— Если это так, то почему же вы установили себе срок?

— У меня другое.

— И у вас человеческий организм, — сказал Бадунц.

— Был, да весь вышел. И об этом я вам говорю, чтобы вы знали главное: у нас с вами разные стадии болезни. Так что у вас впереди целая жизнь. Напрасно вы пришли ко мне. Сейчас, наверно, в клинике спохватились и ищут вас.

— Рузанна Аршаковна знает, где я.

— Вот я ей покажу. Поставила меня перед фактом.

— Не надо, профессор. Я сказал, что уйду хоть в больничной пижаме. Я не мог не повидать вас. Мне просто необходимо было узнать о сроке.

— Жить вам и жить.

— Вы сами знаете, что это не так. У меня двое детей. Два мальчика, старшему четырнадцать, младшему — десять. Жена одна не справится, не поставит сыновей на ноги. Человек должен так уходить из жизни, чтобы...

— Не нравится мне этот разговор и такое настроение. Жизнь — не система торговли: сколько прожил, сколько осталось. А может, еще сдачу вам не додали? В конце концов можно быть здоровым, как бык, и погибнуть через час под машиной. Так что же теперь думать о том, что сегодня тебя задавит машина или на голову упадет кирпич?

— Одно дело здоровый, другое — неизлечимая болезнь. Если здоровый не попадет в аварию и на его голову не упадет кирпич — он будет жить. А человек с неизлечимой болезнью обречен. Он может уберечься от машины и кирпича, но не от своей болезни.

— Жуткая логика. Скажите, что бы вы стали делать, если бы знали, что осталось жить пять лет, десять или, скажем, год?

— Я бы все спланировал, — сказал Бадунц. — Если, скажем, год или даже пять, то в первую очередь бросил бы работу над диссертацией. Ну для чего нужна мне диссертация в таком случае?

— Я бы на вашем месте не работал над диссертацией, даже если бы твердо знал, что буду жить сто лет. Нужна ли человечеству диссертация, над которой можно работать и можно не работать в зависимости от жизненных планов, от, извините, прогнозов жизни. Творчество от ремесленничества отличается тем, что в первом случае без тебя никто другой не сделает твою работу, а во втором — сделает любой. Лично я вообще работу над диссертацией никогда не считал творчеством.

— Как так? — удивился Бадунц.

— Очень просто. Ученая степень — штука и условная, и относительная. И, конечно, придет время, когда никаких таких ВАКов не будет. По мне: человек должен получать очень много за хорошую работу, меньше за среднюю, и его должны отстранить от должности за плохую работу. Тогда он не сделает из кандидатской или докторской самоцель. Тогда, может, и вы вообще бы не взялись за работу, которая, как я вижу, для вас является каторгой. Хотя я с детства питаю слабость к легендам и мифам Древней Греции. И книга Куна лет пятнадцать стояла у меня на самом видном месте. Можно писать диссертации

даже о древних мифах, хотя я за то, чтобы больше думать о завтрашнем дне.

— И я беспокоюсь о завтрашнем дне. У меня ведь двое сыновей-подростков. У меня ответственность...

— У всех отцов во все времена была эта самая ответственность. Но не думаю, что во все времена отцы думали только об одном...

— О чем? — спросил Бадунц.

— Мол, я могу спокойно умереть, зная, что своего наследника обеспечил домом, машиной, дипломом и еще — определенным материальным запасом, позволяющим жить, может, до конца дней, не работая.

— Я вас понимаю, профессор. Разделяю ваши мысли, но в то же время ничего плохого не вижу в желании отцов, как вы сказали, умереть спокойно.

— Говорят, домашние птицы не могут жить на воле. А тепличные растения чахнут от сквозняков. Мой отец ушел из жизни... Сейчас бы в сыновья мне годился. Я был крошкой. Для меня выжить — это значит, жить без отца. Это все-таки страшно: не жить, а выживать. Не знаю почему, но сейчас больше чем когда-либо вспоминаю отца, советуюсь с ним, не сознавая, что он теперь намного моложе меня. Память сохранила многое. Но четко помню лишь один эпизод. Мне не было тогда и пяти. Мы ехали с отцом в поезде. Остановка, отец вышел за водой. Я смотрел в окно, ждал, но отца не было. Поезд тронулся. А его все нет. И я так закричал, что весь вагон сбежался в купе.

— Ехали вдвоем?

— Да. Без матери. Просто отец часто разъезжал и меня брал с собой. Короче, поезд уже набрал скорость, а отца все нет. Я продолжал кричать от страха. Я тогда, конечно, не думал, что с отцом могло что-то случиться, кричал от страха за самого себя... Потом, конечно, отец появился, пробравшись через другие вагоны. Я был безмерно счастлив. Но помню, долго еще не покидало меня ощущение страха. Ночью просыпался на подпрыгивающей полке и проверял: на месте ли отец. Это было в тридцать пятом году. А через два года я лишился отца.

— Вам, выходит, было семь лет? — спросил Бадунц.

— Да. Мало того, мы потеряли дом, в котором жили. Это, конечно, страшно, когда остаешься без дома.

— Вот потому и строят дома сыновьям, как это делали отцы во все времена, — вздыхая, сказал Бадунц.

— Никогда этого не было. Отцы строили дома вместе с сыновьями. И вряд ли в старину отец дарил наследнику ключ от ворот дома или сбрую коня.

— Я понимаю вас, профессор. Но ведь нынче времена другие. Да и дети есть дети. Вон звери и то до поры до времени...

— Вот именно: «до поры до времени». И в этом великий смысл. Чуть дольше положенного носи пищу орленку — и загубишь его. Не научи вовремя летать — крылья не разовьются.

— Нежная травинка пробивает твердый асфальт. Вы обращали на это внимание?

— И не раз, — сказал профессор.

— Но такая травинка довольно быстро чахнет. Она слишком много потратила сил на борьбу с тупым, серым, твердым асфальтом.

— Для меня важнее то, что травинка все-таки пробилась асфальт. Увидела солнце. Ведь не каждой травинке, рожденной даже на воле, это удастся. Только сильной. А сильная травинка не может родиться от гнилого корня. Сын-паразит, разъезжая на отцовской машине, еще как-то сможет просуществовать на этой земле. А вот его отпрыск зачахнет — это точно. Думая о сыновьях, мы забываем о внуках и правнуках.

— А кто из нас помнит своего деда, — вздохнул Бадунц, — и кто знает, как звали прадеда? Говорят, студентам задали вопрос, как зовут их ближайших предков. Из тысячи ответил только один, и то потому, что прабабка была еще жива.

— Наша история — это и есть жизнь наших прадедушек и прабабушек. Разве можно трепетно относиться к далекому прошлому своих предков и совсем иначе — к далекому будущему? Недавно я читал интервью с одним из ярых врагов Армении. Его спросили, как он относится к тому, что не без помощи коммунистов армяне, по существу, построили новую, двенадцатую по счету столицу? Не город, а сказку! И живет в этой сказке миллион человек. Враг ответил довольно спокойно: «Ничего, пусть строят. Константинополь тоже строили», — профессор помолчал и продолжил: — Защищая свое прошлое и настоящее, мы не должны забывать о будущем. В городе-сказке, в стране-сказке не должны жить орлы с хилыми или неразвитыми крыльями. Это даже опасно. Опасно для будущего. Об этом надо думать всегда, даже если осталось жить одно мгновение.

— Много ли сделаешь одними думами, тем более за одно мгновение? Мне сейчас за пятьдесят. Из них тридцать с гаком



хворал. Я никогда не ощущал, как ныне говорят, прелести здоровья, упругости мускулов. Говорят — это поэзия. Бог меня лишил этой поэзии. И вот я думаю, правильно ли устроена жизнь? Один прожил сто лет и ни разу не болел, другой с детства себя помнит больным и даже, как видите, хочет знать день смерти.

— У вас предложения к ее величеству Природе?

— Не предложения, но мысли терзают. Было бы куда лучше, если бы люди жили пятьдесят или шестьдесят лет, но чтобы без хворей и болей. В каждом человеке генетически будет заложена мысль, что жить ему всего шестьдесят лет и ни дня больше. И это не будет трагедией. Человек все успеет сделать. Общеизвестно, что после шестидесяти, даже, если хотите, после пятидесяти, он уже ничего не дает человечеству в творческом плане. Исключения, конечно, есть, но они только подтверждают правило. И все же за предельный срок я беру не тридцать, даже не пятьдесят лет. Жизнь невозможна без мудрости, а мудрость приходит после сорока, даже после пятидесяти. Понимаю, многие со мной не согласятся, но ведь взамен я предлагаю абсолютное здоровье на протяжении всей жизни...

\* \* \*

Рузанна Аршаковна вела записи в истории болезни, и, словно по команде, через каждые две-три минуты рука машинально тянулась к телефону. Она звонила дежурной сестре, справлялась о Бадунце. Скоро уже уходить, а больного все нет. В истории болезни на этот счет не оставишь запись. Дежурному врачу, который заступит вечером, не объяснишь свой проступок. А ведь иначе не назовешь то, что она сделала. Отпустить больного среди бела дня к больному профессору. Рузанне Аршаковне меньше всего хотелось, чтобы сослуживцы узнали об этом. Неизвестно, что они подумают, как растолкуют.

Склонившись над историей болезни, она писала привычными готовыми фразами все, что требуется писать в таких случаях. Ничего не изменилось с тех пор, как на третьем курсе их учили писать историю болезни. Разве только тогда записи делали четко, аккуратно, подробно. А теперь порой кроме тебя самой никто не разберет твои каракули. Бывает, делаешь сложную операцию, а тебя не оставляет мысль, что впереди самое нудное: записать все на бумагу. Кто-то когда-то начал вводить новшества. Модной стала аббревиатура НОТ. Но никакая научная организация труда не прижилась. Появились в

ординаторских диктофоны. Но потом все запутались в километрах магнитных лент. А стенографировать, расшифровывать — тратить время в два раза больше, чем раньше. Министр здравоохранения издал приказ об упрощении медицинской документации. Тоже ничего не вышло. С одной стороны, приказ, с другой, — обязанность заполнять великое множество так называемых форм. Все нужно фиксировать на бумаге: и количество операций, и дозы лекарств, и причину смерти. И все вроде бы надо. Вот и сейчас Рузанна Аршаковна писала эпикриз, а сама думала, как бы позвонить домой, узнать, как там дети, какие оценки принесли из школы, пообедали ли. Надо позвонить и родственнику. Там прямо беда. Тридцать восемь дней назад у родного дядя умерла жена. И с тех пор он чуть ли не потерял рассудок, ничего не ест. Более сорока лет жили вместе. Жили, не расставаясь ни на день. Дядя так и говорил: «Ни на один день, не считая тысячи трехсот восемнадцати дней». Он имел в виду фронтовые годы. И вот теперь смерть жены... Надо успеть вечером забежать к дяде. А тут еще этот странный Бадунц.

Узнав после очередного звонка, что Бадунца еще нет, Рузанна Аршаковна заказала дежурную машину. В конце концов большого греха не будет, если она на полчаса займет институтскую машину, которая все равно стоит в гараже.

Рузанна Аршаковна ехала по городу и чувствовала, что с каждым мгновением растет волнение. И волнение нарастало по мере приближения к дому, в котором жил профессор. Вряд ли она объяснила бы кому-нибудь свое состояние. Даже сама себе ничего не смогла бы объяснить. Знала только, что не могла не навещать профессора. Боялась, как выразились бы медики, препарировать свои чувства. А чужого мнения о себе и своих чувствах она не хотела знать. Что же касается собственных оценок, то она давно усвоила истину: объяснения, которые дают люди своим поступкам, не всегда заслуживают доверия. Уж это она точно знала. И не только из собственного опыта. Как-то профессор сказал ей, что необходимо разработать тему психологии больного, страдающего неизлечимой болезнью. И Рузанна Аршаковна восприняла слова профессора как предложение заняться этой проблемой. А теперь чувствовала, что слишком уже увлеклась темой. Вылечивая от недуга больного, борясь за его жизнь, врач спасает и его душу. А для этого одного лишь здравого смысла недостаточно. Со времен Асклепия повторяют, что научную медици-

ну от знахарства отличает здравый смысл. Но психологи выявили, что в нем нет различия между аккумулированной мудростью веков, ходячими предрассудками и местными суевериями. Тамотсу Шибутани, чья «Социальная психология» была переведена чуть ли не на все языки мира, рассказывает о том, как Фрэнсис Бэкон однажды выбрал из басен, пословиц и поговорок несколько суждений о человеческом поведении и подобрал антитезы. Например, «разлука любовь бережет» правдоподобно не менее, чем «с глаз долой — из сердца вон». Рузанна любила делиться с профессором мыслями, которые она извлекала из «Социальной психологии». Иногда выписывала из различных монографий и статей целые абзацы и читала ему. Нередко они спорили. Профессор не до конца принимал современную «теорию ролей». «Теорию Я». Слишком уж она усложняет объяснение поведения человека в той или иной конкретной ситуации. И в этой связи большое значение имеет оценка нормы. Например, можно ли считать нормальным поведение человека, который специально занимает крайнюю позицию с той лишь целью, чтобы получить известность? Рузанна Аршаковна вспомнила, как горячился профессор, пытаясь ответить на этот вопрос. И в конце, весь разбитый, устало откинулся в кресле со словами: «Человечество потому и придумало Бога, что вопросов у него оказалось больше, чем ответов».

\* \* \*

Позвонив в дверь, Рузанна Аршаковна открыла ее. Дверь квартиры профессора никогда не запиралась. Привычно смело она вошла в прихожую, откуда хорошо были видны профессор и Бадунц.

— Ай, Вазген Левонович, Вазген Левонович! — выпалила она, едва переводя дыхание. — Как же вы меня подводите! Я же сказала вам, что мне необходимо своевременно сдать дежурство...

— А я все жду услышать: «Здравствуйте», — улыбнулся профессор.

— Здравствуйте, — сказала Рузанна Аршаковна.

— Вот это другое дело.

— Конечно, вам тут весело. А мне сдавать надо.

— Видите, профессор, — смутился Бадунц, — теперь я все равно, что чемодан. А больница — камера хранения. Меня сдавать надо.

— Вас непременно надо сдавать, нехороший вы человек. Подводите меня, — упрекнула Рузанна Аршаковна.

— Ты позвонила в дверь, а я подумал, что это писательница наша, журналистка. Она должна с минуты на минуту явиться. Предупредили. Опять, выходит, ошибся. Ну, проходи, Рузанна. Не надо скандалить. Сама виновата.

— Конечно, сама виновата.

— Ну, раз сама, тогда чего шум поднимать. Глупо шуметь по поводу дела, которое уже случилось.

— Куда уж нам, с нашей женской мудростью...

— Правильно. Давно пора меня сдать. В расход, — игриво вставил Бадунц.

— Не кокетничайте. Вы подвели меня. А теперь надо торопиться.

— Все будет сделано, Рузанна Аршаковна. Правда, разговор наш не закончен, вернее, не состоялся.

— Это почему же? — бодро спросил профессор. — Очень даже состоялся. Я согласен с Рузанной: давно пора вас сдать.

— Могу себе представить, о чем вы тут говорили, — сказала Рузанна Аршаковна.

— О, разговор наш был довольно забавным, — заметил профессор. — Тут Бадунц носится с оригинальной идеей... Рузанна, скажи мне: сколько бы ты пожелала жить на этом свете?

— На этом свете?

— Да, на этом. На другом не надо.

— Не знаю. Сто, наверное, не хотела бы. Не хочу умирать старухой.

— Ну, а скажем, шестьдесят было бы достаточно тебе?

— Мне? Шестьдесят? Моей матери сейчас шестьдесят, и она еще очень даже ничего. Нет! Шестьдесят мало. Надо побольше.

— Побольше, значит? Ну, а сколько?

— Не знаю. Может, семьдесят, может, восемьдесят, но только не сто.

— Ну, а скажи, хотела бы ты, чтобы все люди земли прожили одинаковое число лет? Скажем, шестьдесят, но чтобы они не болели, чтоб...

— Это, конечно, теория Бадунца. Нет, не хотела бы. Моей маме шестьдесят, и я бы хотела, чтобы она жила вечно. Это я про себя говорю, что хочу семьдесят, а маме желаю сто и даже больше. И дочке своей, и сыну желаю сто и даже больше.

— Вон как вы повернули. Я о другом... Вернее, у меня все это по-другому, — сказал Бадунц.

— С одним я согласна. Если бы люди знали, что им жить всего шестьдесят, то, к примеру, в пятьдесят девять они бы уже... не писали анонимки...

— Я всегда говорил, что все гениальное или вдохновлялось женщиной, или творилось при женщине.

— Я с вами, профессор, не согласна. И вообще удивляюсь вам, мужчинам. Нашли, о чем говорить: «жить всем одинаково». Скучота какая! Человек не должен знать, когда он умрет. Иначе это будет не жизнь, а тоскливое ожидание конца. Человек должен быть уверен, что он будет жить вечно.

— Ну, Рузанна, ты убила нас, мужчин, — смеясь сказал профессор.

— Я убивать никого не хочу... Но кое-кого следовало бы. Зачем, например, держать на этой земле анонимщиков?

— И чего это ты сегодня заладила об анонимщиках? — спросил профессор.

— Да так просто. Анонимки пишут почти одни мужчины, вот я и говорю...

— Интересно! Это очень даже интересно! Я, честно говоря, никогда не задумывался над этим.

— Как можно определить пол автора, если анонимное письмо не подписывается? — спросил Бадунц. — Да еще сегодня, когда их печатают на машинке. Даже по почерку не определишь.

— Очень даже легко определить. И никакого почерка не надо. Женщина никогда не напишет анонимки. Мы не ангелы, но до такой гнусности женщина не дойдет. Значит, анонимки пишут только мужчины.

— Гениальная логика, — заключил профессор.

— Женская логика, — добавил Бадунц.

— Не принимай все так близко к сердцу, Рузанна-джан, — сказал профессор, вставая с кресла. — Анонимщиков хватало во все времена. Это как саранча. То их мало, то их много. Можно, наверно, определить, почему и когда их бывает много...

— Я думаю, профессор, от сытости все это, — перебил Бадунц.

— Вы угадали. С жиру бесятся.

— Нет! — громко сказала Рузанна. — Слишком схематично мыслите вы, товарищи мужчины. Никто с жиру не бесится.

Давно уже доказано, что породистые кошки лучше охотятся именно с жиру. Не с голоду, а с жиру.

— Так ведь — породистые!

— Именно — породистые. Честные талантливые люди гораздо продуктивнее работают, когда у них есть на что жить, у них избыток. В самом человеке дело. Так что убивать надо...

— Какая, однако, ты жестокая, — улыбнулся профессор.

— Будешь жестокая, когда Бадунц подводит. Я его жду в больнице, а он тут выясняет, сколько надо прожить для полного счастья.

— Как видно, и ты не знаешь, сколько...

— Я другое знаю, — сказала Рузанна и направилась к ванной комнате.

— Интересно... — тихо выдавил из себя профессор и добавил уже громко: — Что же ты знаешь?

— Я хорошо знаю, — послышался голос Рузанны из ванной комнаты, — что когда белье пачкается, то его надо стирать.

— Я тебе запрещаю. Ты слышишь? Этого ты больше не должна делать. Дочь не маленькая...

— А какая же она, если не маленькая! — сказала Рузанна, вернувшись в комнату с массивным саквояжем в руке. — С каких это пор ученица восьмого класса уже взрослая. Хватит ей и того, что она стряпает, как взрослая.

— Откуда ты узнала, что в ванной комнате белье в саквояже?

— Я все знаю.

— Договорились, значит, за моей спиной. Только не смей на институтской машине.

— Это почему же? Что с ней будет?

— Машина государственная. А белье, извините, грязное — мое, личное.

— Вы тоже, профессор, человек государственный, — сказал Бадунц.

— Боже мой! — весело выпалила Рузанна. — Наконец и мужчины сказали что-то умное.

— Государственный человек обязан соблюдать государственную дисциплину.

— Машина о четырех колесах, все они исправно крутятся. И ничего с ними не случится, если они пять минут будут крутиться для профессора. Почему четыре колеса могут служить начальнику управления городских бань, а профессору — нет?

— Рузанна, все, что ты говоришь, — чистой воды демагогия, — сказал профессор.

— Нет, Сурен Самсонович, не демагогия. Общественное мнение осуждает, когда начальник бани ездит на персональной машине, тогда как профессор с мировым именем краснеет от одной только мысли, что колеса государственной машины прокрутятся пять минут ради него. Общественное мнение...

— Хватит, Рузанна. Общественное мнение — это слишком сложная штука. Ни мнение большинства, ни мнение авторитета не могут быть критерием. Проказа менее заразна, чем, скажем, туберкулез или сифилис, но обрати внимание, что человек страшно боится в первую очередь прокаженных. Мало того, он даже изолирует их от общества. Видите ли, создалось когда-то такое вот общественное мнение...

— Ладно, Вазген Левонович, пошли. Я, конечно, не сдаюсь. Но приходится соблюдать традицию. Последнее слово за старшим. Посему умолкаю.

— Так-то будет лучше! — сказал профессор.

— Да и некогда. Дела. К вечеру еще надо успеть к дяде.

— Кстати, как он?

— Непонятное с ним творится.

— Твой дядя преподавал мне математику. Великий учитель.

— Умерла жена, и он все тоскует.словно лебедь...

\* \* \*

В теплый солнечный день, наполненный терпким запахом спелой шелковицы, Аршалуйс бродила по улице, на которой прошло ее детство. Улицы той, правда, уже не было. Просто Аршалуйс помнила, что на этом самом месте тянулась кривобокая, вся в колдобинах и лужах улочка, по обе стороны которой за невысокими заборами по весне цвели абрикосы и персики. Она, казалось, знала всех жителей своего квартала. Знала, где живут парни-женихи, невесты на выданье, ветхие старцы, новорожденные. Ее мир состоял из знакомых людей, а уж потом из цветущих садов, колдобин и луж, терпкого запаха спелой шелковицы. Бетонная мостовая, огромный многоэтажный дом, занявший весь бывший квартал, вытеснили ее прежний мир.

Жизнь нельзя остановить. Город должен быть городом. И она писала об этом. Но не раз задумывалась над тем, что урбанизация, похоронившая в бетонной могиле мир ее детства, изменила в первую очередь психологию людей. Сделала ли их хорошими или плохими — это уже другой вопрос. Но измени-

ла. Нарушилась цельность характеров. Никогда раньше Аршалуйс не могла бы даже подумать, что атаман способен преступить неписаные законы, по которым жили мальчишки двора, по которым жил весь квартал. Хулиганить — пожалуйста. Но чтобы ябедничать, предать! В который уже раз Аршалуйс задумывалась над тем, что Самвел все-таки причастен к анонимке, но не сам ее писал. Хотя быть причастным или писать самому — это одно и то же, в конечном счете. Но всякий раз она находила оправдания для Самвела, считая его жертвой. Вернее, если судить, то судить надо не только его одного. Давно сказано, что стоит человека оторвать от его корней, от мира, в котором он вырос, как он с легкостью может забыть о долге и чести и стать эгоистом. Убив так называемую провинцию и в очень короткое время создав столицу, мы населили ее людьми, порвавшими с взрастившим их миром, не помнящими родства.

Аршалуйс не переносила разговоров, мол, почему кто-то может за гроши покупать в красивой упаковке творожок и молоко, а другой в это же время должен возиться в мороз с навозом, от которого поднимается пар. Так вопрос нельзя ставить. Есть люди, которые не могут представить свою жизнь без общения с землей. Это как талант поэта или художника. Нет выше преступления, чем лишит поэта возможности творить. Так почему же мы с легкостью убиваем в человеке талант земледельца? Ведь если человек рожден для того, чтобы быть садоводом, то не дай бог сделать из него парикмахера. Может, он неплохо будет брить и стричь, но он всю жизнь будет несчастным, потому что его оторвали от родного мира, пересадили на другую почву. И если мы в одночасье создали гигантскую столицу, то нельзя забывать, что в одночасье не создадим соответствующего для нее жителя. И случись ему хотя бы в отпуск приехать в свою деревню и увидеть, что от детского мира ничего не осталось, он просто потеряет чувство конкретности родины. Весь его патриотизм сведется только к почитанию прошлого.

Подобными мыслями Аршалуйс делилась с Франсуа Мориакком, который однажды признался, как на исповеди:

«Время в глубине оставляет след лишь на лицах, да и те меняются в деревне меньше, чем в городе; в остальном перемены столь незначительны, что кажется, будто ты очутился в детстве. Моя деревня притягательна для меня своей неизменностью. Я навсегда останусь ребенком для сосен этого клочка земли. Но только для них, поскольку дом, напротив, свидетель моего рос-



та. Я оказываюсь здесь всегда в одно и то же время года и потому без труда читаю созвездия: вон над колодцем нависла Кассиопея, над лужайкой — Вега, а над другим концом аллеи, посыпанной гравием, — Большая Медведица».

«А кто вам больше всего дорог в вашей деревне?»

«Наверное, больше всего дорог мне тот самый мальчик, из которого я превратился в старика. Я этого мальчика всегда называю моим маленьким другом. Вообще-то деревня — усыпальница для тех, кто мне дорог. Среди столичного шума их голоса не достигали моего слуха; но в деревне всегда был со мной мой бедный маленький друг. Это с ним мы когда-то вместе бродили по знакомой до боли аллее, сживали под родным до боли дубом, рассуждали о смерти».

«Что, на ваш взгляд, в первую очередь страдает в большом городе?»

«Любовь. В столице сердечные дела поставлены так, что любовь лишается своего первоначального смысла, а на природе она оборачивает к нам бесхитрое цветущее лицо, с которого слетели все метафизические румяна, — вот мы уже и смущены. Деревенские жители столь же невинны и простодушны в проявлении своих чувств, как животные. И в этом их красота. Какие же нужны были цепи, чтобы удержать на земле ту часть человечества, которая кормит другую!»

«“Суть” цепи раскрыл поэт, сказавший: все умрем, но есть резон, что ты рожден поэтом, а другой — жнецом. И все же когда, к великому несчастью, жнец по воле судеб становится жителем столицы, то по каким законам он устраивает собственную судьбу? Что связывает его с родней?»

«Свадьба и похороны. Это — удобный случай провести смотр семейных рядов. Кроме того, на первое января назначается неприменный фамильный парад. То, что семья никогда не отвергает никого из своих членов, пусть мерзких и ничтожных, — факт, достойный восхищения. И зануды, и глупцы, и нечестивцы, и недоумки имеют право на праздник и традиционное пиршество. Но в столице уже и эти традиции уходят в небытие. И посему те, у кого еще кто-то остался в деревне, пытаются играть свадьбу в отцовском доме, хоронить родных на деревенском кладбище. Правда, таких становится все меньше и меньше. Словом, рожденный жнецом, попав в столицу, попадает в гигантскую могилу».

И, возвращаясь из покрытого бетоном мира своего детства к себе на улицу Абовяна, Аршалуйс чувствовала, что не может

расстаться с образом жнеца, который находит себе в столице могилу. В деревне он, наверно, никому не завидовал бы. Потому что жнец во все времена был человеком честным. А честный человек никому не завидует. Но стоит ему убить в себе жнеца, как он превратится в завистника, который невольно причинит себе столько огорчений, словно речь идет о враге. Так что нельзя винить жнеца. А может, все же нужно винить именно его за то, что он предал самого себя, похоронил талант, данный богом? Но судьи кто? Сказано давно: не суди, дабы самому не быть судимым.

\* \* \*

Профессор взял с полки толстую книгу. Пододвинул кресло к окну. Усевшись в кресло, держа книгу на подлокотнике в вытянутой руке, он вспомнил шутку деда: дальнорядного, который и не подозревал о своем недостатке, как-то спросили: «Что? Глаза плохо видят?» «Нет, — отвечал он, — рука короткая».

Сурен Аматауни не мог сосредоточиться. Он заставил себя вслух прочитать первую строчку первой страницы: «Кому не случается сказать глупость? Беда, когда ее высказывают обдуманно». Далее шла фраза на латинском. Аматауни не без труда перевел ее, хотя в примечании был перевод. «Этот человек с великими потугами собирается сказать великие глупости». Так начиналась третья книга Монтеня «Опыты». Первые две Аматауни читал мучительно долго. Исчеркал, делал выписки. Злился на Монтеня, который отрывал его от работы. Злился даже на своего друга Артема Теряна, который подарил ему книгу. В самом деле, разве не грешно тратить время на пусть даже гениальную книгу, написанную более четырехсот лет назад, когда дни твои сочтены, когда в твоих руках судьба многих и многих людей. Сколько их? Тысячи? Миллионы? А может, все человечество? Ведь неизлечимой болезнью может заболеть каждый. Сегодня никто ее не победит. Но сегодня можно уже говорить о том, что она не так страшна, как вчера. Сурен Аматауни хорошо понимал, что если ему удастся завершить работу, сделать все расчеты, то можно добиться самого главного. Можно сделать так, что вторая стадия болезни никогда не перейдет в третью — роковую, неизлечимую. На последнем международном симпозиуме он предложил коллегам не употреблять термин «неизлечимая болезнь». Неизлечимой является, если можно так выразиться, не болезнь в целом, а лишь ее последняя стадия, которую не излечит ни Бог, ни черт.

Аматуни терзал себя за то, что не может отложить книгу, которая ему уже не нужна. Не может заставить себя сесть за рабочий стол. Да и как отложить самого Монтеня, который когда еще утверждал, что наше устройство — и общественное, и личное — несовершенно, что ничто в природе не может быть бесполезным, даже сама бесполезность. Что во всей Вселенной нет вещи, которая не занимала бы подходящего ей места. Что вся наша сущность складывается из пагубных свойств: честолюбие, пресыщение, ревность, суеверие и отчаяние, и что власть их над каждым из нас велика.

Сурен Аматуни часто вспоминал деда, старого безграмотного человека, который не любил поучать, читать мораль. Больше старался показывать, нежели рассказывать. Особенно остро ощущал тоску по деду, когда потерял жену и маленькая дочь обращалась к отцу с бесчисленными вопросами. И дело вовсе не в том, что нынче дети ах какие умные и развитые и, видите ли, задают такие вопросы, на которые и профессора не ответят. Аматуни хорошо понимал, что дети во все времена дети. Наверно, во времена фараонов или во времена Аристотеля дети задавали своим родителям не менее сложные вопросы, чем мы думаем. Тут другое. Оборвалась самая важная и самая бесценная связь, которую можно назвать «Дед — внук». Построив бетонные дома, отделившись от родных и близких, расставшись со стариками, стали создавать так называемые самостоятельные семьи. Отец уходит на работу, когда еще ребенок спит. Возвращается подчас, когда малыш уже спит. Чуть ребенок научится ходить, научится говорить — отдадут в детский сад. Иначе нельзя, — мать ведь тоже ходит на работу. У ребенка в душе и в сердце сотни вопросов, сотни своих вечных «почему», но на них уже никто никогда не ответит. В детском саду дисциплина. Там надо как все. А «все» — это не «я». Ученый тратит подчас всю свою жизнь, чтобы ответить на один единственный вопрос, найти ответ. Радостно восклицает «эврика», найдя, наконец, ответ. А тут сотни и тысячи вопросов остаются без ответов. И в школе лучше не задавать вопросов. Там некогда и тоже дисциплина. Там нельзя вертеться и оглядываться по сторонам, улыбаться соседу и смотреть в окно. Нельзя бегать в коридоре, по перилам съезжать. Дисциплина. А то, что самой природой в человека заложена потребность в движении, — это уже только слова. И невдомек желающим собственного покоя и уюта учителям, что они губят детей и детство сегодня и целое поколение взрос-

лых людей завтра. Ребенок, который не выполнил «программу движения», накопил в себе потенцию, как может накапливаться молоко у недоенной коровы. А это страшно. Корова может взбеситься. И ребенок, став подростком, начинает беситься. Все равно где-то прорвется то, что некогда сдерживалось запретом. Кошка лежит и лениво греется на солнце, а котята носятся вокруг. Мать лишь приоткроет один глаз: все-таки надо быть начеку. Малыши есть малыши. И кошка оказывается мудрее человека, который все удивляется: был ребенок паинька, ребенок как ребенок, подростком стал просто невыносим. Дикие замашки, обзленность, желание творить зло, а не добро. И невдомек ему, что это выходит через набухшее вымя времени накопленное и скисшее молоко. Сначала не ответили на все вопросы, потом не показали, как надо жить и как не надо жить, потом заковали в цепи надуманной самоуспокоительной дисциплины. А теперь — разводят руками. И винить-то некого. Отвечать на вопросы некому. Все заняты, все на работе. Дедушек нет. Бабушек нет. Заточенные в бетон, они сами страдают оттого, что с ними рядом нет внуков. Разорвана цепь, которая состояла некогда из звеньев: внук, отец и мать, дед и бабка.

Аматуни почувствовал, что задремывает, но не боялся уснуть. Читать не хочется только потому, что чтение отрывает от главной работы. Но для того, чтобы сесть за рабочий стол, надо поверить, что сможешь сконцентрировать свои мысли. А раз думаешь сейчас о чем-то другом, значит не готов приступить к работе. Ведь вовсе не случайно в голову полезли мысли о воспитании детей. Времени, которого может не хватить для того, чтобы завершить главную работу жизни, не хватит и на другое. Не хватит времени — значит смерть. А как тут не думать о дочери? Глупо думать о спасении человечества, забывая о собственной дочери. Как бы человек ни восхищался, ни изумлялся «социальной физиологией и психологией» пчел, все равно он понимает, что человек — не пчела. Человек — человек. О человечестве думать куда легче, чем о собственном ребенке. Знать, когда наступит последний день твоей жизни — это все-таки страшно. Глупая теория у несчастного Бадунца. Последний день жизни отца — это не просто первый день сиротства ребенка. Это — начало сиротства. А что оставлено ребенку? На его бесчисленные вопросы не даны ответы. Переехал в город. Дед остался в деревне. И умер он в борозде, унося в землю все, что было в нем накоплено от многих поколений. Теперь на земле

останется малыш, в котором уже нет дедовской мудрости. Малыш, который с самого дня рождения видел только женщин. Роды принимала женщина. В яслях — женщина. В детском саду — женщина. Прививку делали женщины. В школе — только женщины. Мальчики и девочки с первого дня своей жизни воспринимают мир женскими глазами, слухом, логикой женщины. Ребенок, не общающийся с дедом, пропускает уроки живого университета, которые ему никто уже не даст. Ребенок, который не видит и не чувствует власть деда в доме, никогда не поймет суть великого смысла по имени — домострой. Миллионы и миллионы людей уже несколько поколений заучивают наизусть первые строки пушкинского «Евгения Онегина». Но редко кто вникает в истинную суть удивительной философии, заложенной в эту строфу. Дядя, который не в шутку занемог, заставил себя уважать. Это был единственный выход. «И лучше выдумать не мог». За больным человеком нужен уход. Сегодня многочисленные дяди, занемогшие не в шутку, не могут уже заставить себя уважать. Они отгорожены от родных и близких бетонными стенами.

Аматуни успокаивал себя тем, что живы его двоюродные брат и сестра. Конечно, он никому из них ничего не скажет. Никаких, так сказать, завещаний. После его смерти соберутся на семейный совет родственники и вместе решат, как быть с его дочерью. Так делалось всегда. Но Аматуни чувствовал, что надо успеть придумать что-то другое. Как бы ни противопоставлял ученый всему человечеству собственного ребенка, все равно он должен отдавать всего себя человечеству, которое вбирает в себя и его ребенка тоже.

\* \* \*

Аршалуйс Гукасян шла по любимой улице, невольно глядясь в свое отражение в огромных стеклах пестрых витрин. Женщин хлебом не корми — дай только поглядеть на себя. В маленькое зеркальце, в котором можно увидеть только кончик носа. В трюмо, где можно увидеть себя со всех сторон. Все годится. Лишь бы увидеть себя. Но особое удовольствие увидеть себя в движении. Как в кино. Аршалуйс смотрела на свои стройные ноги и думала о том, как много раз на ее веку менялась мода. Невольно подчиняясь ее законам, она регулярно меняла гардероб. Смотрела на себя в витринах магазинов. То в них отражались ноги выше колен, то ниже колен. А то и вовсе ног не было видно. Нравилось ей то, что нынче считаются мод-

ными одновременно и короткие юбки, и средней длины, и длинные.

Собираясь к профессору, Аршалуйс надела серый костюм. Она любила костюмы. В них женщина выглядит и строгой, и женственной. Вроде бы несопоставимо. Но, может, в самом парадоксе и вся красота. Она шла к профессору, вглядываясь в свое отражение, и думала о Самвеле. Ничего не могла с собой поделывать. Сколько раз, казалось, давала себе зарок. А вот сердце — нет. Не подчинялось. Разве не сердце виновато, что он снится по ночам. Иногда ей в голову приходила дикая мысль: связать свою судьбу с первым попавшимся мужчиной. Ведь говорят же: стерпится, слюбится. А раз так, то и забудется прежде. Но сердце противилось. Оно словно упрекало ее, говорило: даже в мыслях нельзя изменять, если любишь. И Аршалуйс сдавалась. Она знала, что любит. Знала, что все простит. Даже его тщеславие, желание непременно пробраться наверх, хотя бы и по трупам близких людей. Она даже сознавала, что не уважает его, но ничего не могла поделывать с собой. Сердце не отпускало. Теперь еще выясняется, что он имеет отношение к анонимному письму. И даже сознавая, что он способен на такую низость, сердце все равно твердило свое. Аршалуйс еще раз убедилась, что это на всю жизнь. И сама жизнь подтверждала данную истину. Однажды на вечеринке ей приглянулся молодой ученый. Красавец и только. Было весело, непринужденно. Все ходило ходуном. Дикий хохот. Танцы при свечах. Молодой ученый ухаживал весь вечер за Аршалуйс. Без конца танцевали. Она уже не удивлялась, что танцует, прижавшись к партнеру. Сначала он поцеловал ее в щеку, потом в губы. Она сумела на мгновение убить в себе не просто любовь к Самвелу, но и его самого. Не было на свете никакого Самвела, а только реальная, осязаемая и осязаемая жизнь. Лишь визг и хохот веселых людей, тусклый свет мерцающих свечей и молодой интересный ученый, который, прижав ее к себе, без конца целовал в щеки и в губы. И ей было хорошо. Она не отталкивала его от себя. Она просто знала, что мир перевернулся, земля разверзлась, небо упало на землю, что она — это не она. Не Аршалуйс Гукасян, на которую все прохожие оглядываются, потому что узнают в лицо. Не было ни лица, ни прошлого. Нет желания ни заглянуть в будущее, ни думать о будущем. Есть только настоящее и есть этот приятный молодой человек с красивыми глазами. И ей было хорошо от чувства свободы. Танцуя, вошли в спальню хозяев дома. Все кружилось. Через плечо партнера

она увидела на трюмо разбросанные лекарства. Одна из пачек по своей расцветке ей была знакома. Ноксирон. Иногда она принимала снотворные. Незаметно для молодого человека Аршалуйс взяла пачку и уже за столом проглотила сразу несколько таблеток.

Проснулась Аршалуйс на следующий день в полдень. Открыла глаза и вяло посмотрела на сидящую рядом хозяйку дома, давнишнюю подругу по университету. От нее она и узнала, что вчера в разгар веселья Аршалуйс положила голову на плечо молодого ученого и уснула. Как ни старались, не смогли ее разбудить. Хозяйка дома все удивлялась: можно сказать, и не пила совсем. Аршалуйс, преодолевая невыносимую головную боль, через силу улыбалась подруге. Она продолжала улыбаться и тогда, когда хозяйка сказала, что молодой ученый не прочь был выкрасть Аршалуйс с вечеринки.

Аршалуйс тот вечер назвала про себя лакмусовой бумагой, которая установила окончательный диагноз: никого, кроме Самвела, она теперь уже не сможет любить. Прямо болезнь какая-то. И, судя по всему, болезнь неизлечимая. Порой ненавидела его за то, что из-за него не сложилась жизнь, как складывается она у нормальных людей. Хотя благодаря ему не просто наслаждалась свободой, но и смогла заняться любимым делом. Стала знаменитой. В каждом доме ее книги читают и хранят. А какое это наслаждение, когда твою книгу продают тебе же из-под полы. Или слышать в группе людей, толпящихся у книжного магазина, свое имя. И кто знает, было бы все это, если бы сложилась личная жизнь. Бывало, со злобой смотрела на выстроенные в ряд свои книги в личной библиотеке, рвала на куски фотографию Самвела, навзрыд плакала. Все и вся хотелось начать сначала. Услышать крик ребенка, гомон детей в собственном доме. И чтобы муж возвращался домой усталый и голодный. И чтобы дети бросались ему навстречу. И чтобы она в это время возилась на кухне, собирая на стол. Мечтая, Аршалуйс твердо знала, что это неосуществимо, что ни дня не сможет прожить без пишущей машинки. Без того, чтобы часами не выслушивать нудный рассказ вконец истерзанного человека о безобразиях начальника на работе. Не сможет жить без своей редакции, без чудовищных амбиций самого редактора. И, конечно, без любви к человеку, которого не уважает. И, может, больше всего это ее и беспокоило. Убивалась, мучилась, но признавалась себе, что любовь не угасает.

Скорее, наоборот. Своего Самвела она с каждым днем любит все сильнее и сильнее. Вот и сейчас: шла к профессору, ничуть не сомневаясь, что Самвел имеет если не прямое, то косвенное отношение к анонимке, и все равно ничего не могла поделаться с собой.

\* \* \*

Дверь открыла курчавая девочка. Аршалуйс поздоровалась с ней и справилась о профессоре.

— Папа вас ждет. Он мне о вас говорил.

— А откуда ты знаешь, что именно меня он ждет? — спросила Аршалуйс улыбаясь.

— Он сказал, что вы знаменитая писательница.

Аршалуйс погладила девочку по волосам, ловко сбросила плащ, спросила:

— А как тебя зовут?

— Кнар. Кнарлик.

— Красивое имя.

— Все так говорят. Вы проходите. А я побежала во двор. Папа разрешил.

— Так не годится, Кнарлик-джан. Ты сначала представь меня папе, познакомь нас, а уже потом...

— Он же сам мне сказал, что вы знаменитая писательница, значит он знает вас. Хорошо. Я вас провожу к папе.

Девочка взяла за руку гостью и повела за собой, как поводырь. Подвела к креслу у самого окна, в котором сидел Аматыни, и громко объявила:

— А вот и мы!

Аматыни резко повернулся в кресле, хотел встать, но Аршалуйс возразила, пододвинула к креслу стул с гнутыми ножками и села.

— Ну я пошла, папа. — Кнарлик весело выпорхнула из комнаты.

Аматыни пристально посмотрел на гостью и сказал просто:

— Вот видите, какая у меня маленькая дочка. У такого старика — такой крохотный ребенок.

— Прямо уж у старика. Кокетничать мужчинам не к лицу.

— Какое там. Отцом стал после сорока. Так все получилось. И теперь словно виноват перед ребенком.

— Говорят, у Чарли Чаплина ребенок родился, когда ему было семьдесят три.

— Ну, во-первых, это был не первый его ребенок. Во-вторых...



— Во-вторых, — перебила Аршалуйс, — мы что-то с вами не о том говорим.

— И вправду, не о том. Признаюсь, я всегда с удовольствием читаю ваши произведения. У армян встречаются имена, которыми называют и женщин и мужчин. Вот как ваше, например: Аршалуйс. Помню, в нашем классе были мальчик и девочка, и обоих звали Аршалуйс. Многих забыл, а их помню, потому что мальчик обижался, когда его дразнили девчонкой.

— А девочка не обижалась?

— За что?

— Ну, вы, наверно, и ее дразнили. Дразнили, наверное, мальчишкой.

— Не помню. Думаю, не дразнили.

— Да, конечно. Скорее, она гордилась бы. Ведь маленьким девочкам где-то в глубине души хочется быть мальчишками. Наверно, оттого, что мальчишкам чуть больше дозволено. Больше вольностей.

— Наверно. Что это мы о детях?.. Ах да. Ну, и если учесть, что по армянским фамилиям не определишь пол, то долгое время предполагал, что вы мужчина. Наверное, это еще оттого, что женщин журналистов, особенно талантливых, извините, женщин...

— Спасибо за комплимент. А к вам я пришла... Давно хотела познакомиться. О вас, по-моему, весь мир знает.

— Несколько десятков или даже сотен коллег — это еще не весь мир. Мир в свое время знал только великих полководцев, а нынче знает футболистов и киноактеров. И я не удивляюсь этому.

— Я тоже не удивляюсь. Хотя трудно найти журналиста, который хоть раз не писал об этом. Я где-то читала, что мир не знает Дженнера, который спас и спасает сейчас все человечество от оспы, а вот полководцев, убивавших миллионы людей, мир знает и помнит. Такова ирония жизни. И все же, если вас знают ваши коллеги, значит, знает мир. И не просто знает... Мир надеется именно на вас. Все уверены, что именно вам удастся в ближайшее время решить проблему...

— Это неверно. Дженнер действительно случайно и не случайно открыл вакцину против оспы. Дженнер обнаружил, что во время страшных эпидемий оспы в Англии не болеют или почти не болеют животноводы, словом, все те, кто имеет непосредственное отношение к коровам. И надо было быть гением, чтобы разобраться в причине. Оказалось, что гнойнички на

сосках у коровы — скопище оспенных микробов. Их содержимое рано или поздно попадало в кровь доярок, и происходила невольная вакцинация. Собственно, ведь слово «вакцина» происходит от латинского *vaccinus* — корова. Гениальная мысль одного человека. Сегодня Дженнеров нет. И я, например, не верю, что проблему, скажем, рака возможно решить одному человеку, каким бы гениальным он ни был. Хотя допускаю, что кому-то посчастливится крикнуть на весь мир «эврика». И все же это будет не архимедово «эврика». В этом самом крике будет труд многих ученых из всех стран мира.

— Мир ожидает, что вы сегодня ближе всех к этому открытию.

— А знаете, это возможно. Я даже думаю: очень скоро. Успею, если... успею.

— Может, я со своим визитом нехстати.

— Вы по телефону попросили аудиенции. Я сам вас пригласил к себе домой. Я считаюсь лежачим больным. Не хожу на работу. Хотя моя работа сейчас на такой стадии, что я могу делать ее и прикованный к постели, Лишь бы, как говорится, сердце билось.

— Одного не понимаю, почему бы вам не отдохнуть, а еще точнее, почему бы самому не вылечиться, а уж потом взяться за работу? Терпеливое человечество подождет еще чуть. Ждало оно этой самой «эврики» несколько тысячелетий, может подождать еще год-другой.

— Да, человечество умеет терпеливо ждать. Правда, цена ожидания всегда слишком велика. Средневековый человек удивился бы, узнав, что нынешние люди в своем большинстве умирают от болезней сердца, рака, травм. Какая ерунда! Когда одновременно несколько миллионов гибнут от чумы. Какое еще, к черту, сердце, в то время как на глазах одного поколения умирает население целого континента, обитаемый остров становится необитаемым! Вот какую цену платило человечество до появления на свет Дженнера и Пастера, Коха и Мечникова. Наша с вами «эврика» — как неведомая птица в небе: если ты схватил ее, то не разжимай пальцев. Выпустишь — все придется начать сначала.

— Но в руке может остаться перо птицы.

— У нас много таких «перьев». Но нам нужна сама птица. Нам, как говорится, нужен журавль в руке. Честно говоря, силицу мы уже имели. Тогда даже думали, что это настоящий журавль в виде крохотной ампулки с граммом жидкости. Излечилась подопытная собака. Но через год, угробив десятки

бедных собак, десятки раз изменив сочетания химических компонентов, входящих в заветную ампулу, получив десятки устных и письменных выговоров за разбазаривание государственных средств, за чуть ли не алхимию современного образца, мы, наконец, выявили причину. Собаки гибли от паралича дыхательных путей. Уже тогда можно было вскричать «эврика».

— А может, и надо было опубликовать результаты. Во-первых, надежды больше, что никто не опередит; во-вторых, опубликованные материалы стали бы подспорьем для ученых других школ и, глядишь, общими усилиями дело продвинулось бы куда быстрее.

— А я, собственно, так и сделал.

— И что?

— А ничего. Несмотря на то, что я являюсь членом редколлегии нашего журнала, статья моя пролежала больше года.

— Но ведь вы должны были убедить редактора, что тема актуальная, не терпит отлагательства...

— Ну, а редактор ответил бы мне, что у имярека тоже тема актуальная и имярек принес свою рукопись на год раньше. К тому же он и член редколлегии. А журнал из разряда тонких, а не толстых. Если по-честному, то жаловаться не приходится. Я сумел опубликовать все свои статьи, все книги. Не будем говорить, правда, чего мне это стоило. Здоровье, как говорится, положил. Но ведь за все надо платить. И платят. Кто унижением, кто здоровьем. Так что год — это еще хорошо. Правда, за это время кое-что устарело. Да и редактора постарались сделать так, чтобы все очевидное в статье стало невероятным...

— Научная статья ученого может год пролежать, а какое-нибудь анонимное письмо смело находит себе дорогу, нигде не задерживаясь!

— Может, мои статьи посылать в журналы, не подписывая их? Наверно, это заинтриговало бы. Правда, неплохо звучит: анонимная научная статья, анонимное изобретение, анонимное открытие. Знаете, странный сегодня какой-то день. Каждый считает своим долгом по разным поводам упоминать слово «анонимка»...

— Мне кажется, ничего тут удивительного нет. Сейчас это слово в лексиконе нашего современника очень популярно. Как популярно занятие анонимщика.

— Не понимаю, стоит ли вообще обращать внимание на это самое занятие. Я убежден, мы живем в такое время, когда в

некоторых случаях самым интеллигентным методом борьбы можно считать умение не отвечать. Я не думаю, что настоящий дворянин в свое время позволил бы себе поднять перчатку, брошенную кучером.

— К сожалению, анонимщик — это не кучер. Скорее, тот же самый, так сказать, интеллигент.

— Я читал ваши статьи об анонимщиках и клеветниках. Извините, но не разделяю вашей точки зрения, что газетными статьями можно избавиться от такого зла. Анонимщик, по сути дела, это сплетник, клеветник.

— Я тоже над этим не раз задумывалась. Действительно, буквами, которыми поэты и философы выражают великие мысли, какой-то негодяй стряпает доносы или пасквили на избранную жертву. И страшно, что анонимщик остается неузнанным. Живет среди нас, улыбается нам, жмет руки. И не только нам. Но и избранной жертве. Он наглет от сознания безнаказанности, превращает кляузничество в профессию.

— Мне кажется, вы немного преувеличиваете роль анонимщика. Если бы добиться, чтобы каждый занимался своим делом, то думается, и анонимщики бы исчезли. Ведь большинство глупостей и подлостей порождено бездельем. Я в своей жизни, как мне кажется, не имел и пяти минут свободного, праздного времени. У человечества не хватает времени. И я горжусь, что кроме здоровья моя работа дает человеку время, измеряемое годом или пусть даже днем. А скоро, возможно, мы сможем избавиться от отрицания «не».

— Не понимаю.

— Болезнь, которая сейчас еще называется или считается неизлечимой, будет называться излечимой. Всего-то.

— И это вы называете «всего-то»?!

— Не скрою, я жду своего звездного часа, и хочется верить, что дождусь, как Королев.

— Однако без Королева звездный час вряд ли наступил бы именно двенадцатого апреля. И самое главное, что он наступил в свое время, без опоздания.

— Я никогда не забуду своего первого больного. Это было на четвертом курсе. Аппендэктомия. Мне тогда показалось, что я свой долг перед человечеством выполнил. Потом забросил общую хирургию. Слишком все это было не то, не для меня. Час, а то и много часов кропотливой работы, не считая нескольких дней, а то и месяцев ухода за больным, и все это для того, чтобы спасти одного человека. Дело, конечно, необходи-

мое. Избавить человека от боли — это самое важное. А медицина, в конечном итоге, появилась на свет, чтобы избавить человека от боли. И «больной» от слова «боль».

— Никогда не задумывалась над этим.

— Боль — это целая... философия. И беда в том, что человек воспринимает близко к сердцу лишь собственную боль и боль очень близкого, конкретного человека.

— Разве это беда? Не случайно в нашем народе так распространено выражение: «Цавыт танем» — «Чтобы я взял себе твою боль». Ведь взять на себя чужую боль — значит сделать счастливым именно конкретного человека. Достоевский призывал осчастливить хотя бы одного человека. Говорить не о счастье абстрактного человечества, а конкретного человека.

— Достоевский прав. Но мы ударились в другую крайность. Человечество — это абстрактно, а вот судьба конкретного человека — это осязаемый реализм. А ведь когда говорят, что ежегодно несколько миллионов умирает, скажем, от рака, то это, в конечном счете, несколько миллионов конкретных судеб. И когда в медицинском издании пишут о том, что благодаря тем или иным научным работам сократилось число умерших хотя бы на один процент — это значит сотни тысяч спасенных конкретных судеб.

— Но ведь спасти одного человека — это тоже немало.

— А новые миллионы? Ведь их все равно не сумеют квалифицированно прооперировать. И я не жалею, что забросил общую хирургию. Перестал быть, так сказать, чистым хирургом. Хотя вся моя работа нынче так или иначе связана с хирургией. Но сейчас бы я назвал себя иначе. Врачом-экспериментатором. Так что модного, популярного хирурга из меня не вышло. А ведь ваш брат писатель только хирургов и признает. И обязательно, чтоб он спасал, как правило, талантливого ученого.

— Удар ниже пояса, — сказала улыбаясь Аршалуйс.

— Ну, разве не так? Вы читали роман о фармакологах или о терапевтах? Хотя роман еще может быть написан. Но вот в кино — нет хода. Представить себе трудно, чтобы киногероем был санитарный, спортивный врач. Мне кажется, вы когда-нибудь должны написать что-нибудь такое. Пусть подмогой вам будут образы Гиппократы или Геракли. Были они просто врачами. И вообще, если бы я имел право, то предложил бы вам разработать тему о крайностях. Ведь любое дело у нас

опошляется именно тем, что мы ударяемся в крайность. К примеру, разделение профессии медика на множество узких специальностей — это вроде бы дело прогрессивное. Как говорится, веление времени. Но переборщили: как по-вашему, сколько всего медицинских специальностей?

— Понятия не имею, — призналась Аршалуйс.

— Ну хотя бы примерно. Прикиньте.

— Ну, наверно, тридцать-сорок...

— Сто семьдесят три.

— Я, как говорится, не владею материалом. Однако чувствую, что в идеале — это неплохо. Сверхузкая специализация.

— Идеалом может быть только вечный двигатель. Для меня есть свой идеал. Это — оптимизация. Столько-то — мало. Столько-то — уже много. Есть такие границы, которые нельзя переходить. Перейдешь и уже за своей сверхузкой специальностью не увидишь живого человека.

— И все же, думаю, нужно хоть на какое-то время ударяться в крайности. Хотя бы для того, чтобы потом не перегибать палку.

— Бывает и от этого польза. Первобытный человек перегнул палку и изобрел колесо, — сказал профессор и засмеялся.

Аршалуйс смотрела на сияющее лицо профессора и ловила себя на мысли, что он ей нравится. Несмотря на сильную худобу — домашний халат висел на нем, как на узкоплечей вешалке, несмотря на впалые щеки и торчащие острые скулы, профессор казался ей красивым и сильным мужчиной.

— Будь я писателем, непременно написал бы об аптекаре.

— Но, профессор, это же скучно, наверно.

— Может быть.

— Читатель не воспринимает скучного.

— Если литература — это выраженное беспокойство о будущем, то знайте, что в будущем роль аптекаря возвысится.

— По-вашему, в будущем люди будут глотать еще больше пилюль?

— Знаю только, что уже сегодня каждый четвертый на земле умирает от неправильного лечения, а еще точнее — от неправильного применения лекарств. Это миллионы и миллионы людей.

— Мне кажется, этим должна заниматься...

— Публицистика...

— И даже не публицистика, а Организация Объединенных Наций, точнее, Всемирная организация здравоохранения.

— Согласен. Но авторитет медика могут и должны поднять литераторы.

— Авторитет медика должны поднять прежде всего сами медики. Врач без авторитета — не врач. Ему не поверят.

Аршалуйс не могла подолгу смотреть на профессора: слишком он был истощен. Иногда при повороте лица к окну резко вычерчивались огромные синюшного цвета мешки под глазами, делая его ветхим старцем. Гостья старалась смотреть в окно. Ей хорошо была видна улица. На здании напротив крупными буквами было написано: «Кафе-мороженое». Чуть ниже виднелся краешек сероватого здания института акушерства и гинекологии, который в народе по старой привычке зовется родильным домом. У самого угла здания под окнами толпились люди, больше молодые мужчины. Аршалуйс обратила внимание, как они лихорадочно курят. Волнуются.

Почувствовав, что беседа подошла к концу, Аршалуйс стала было собираться, но хозяин дома, угадав ее желание, сказал:

— Есть у меня к вам одно дело, если позволите.

— Конечно.

— Даже не дело, а острое желание высказаться по одному вопросу, который имеет непосредственное отношение к литературе. Вы уж извините, что я влезаю в дела чисто литературные, но я давно хотел поговорить об этом и, не знаю почему, именно с вами.

— Вы мне льстите, профессор.

— Отнюдь нет. Мне импонируют ваши герои. Как в рассказах, так и в журналистских работах ваши герои — оптимисты. Люди здоровые духом. Однажды вы писали о том, что человеку страшно, когда его охватывает отчаяние, когда он бывает беспомощен.

— Я еще не уловила вашей мысли, — улыбаясь сказала Аршалуйс.

— Началось все с того, что я заболел гриппом. Лежу дома и читаю. Врачи обычно советуют пациентам не читать. Почему? Если высокая температура, больной сам не захочет читать, да и не сможет. Читал я рассказ «Лишняя». Это были дни, когда отмечали столетие со дня рождения Дереника Демирчяна, и накануне вышел хорошо изданный сборник его рассказов. Днем температуры особой не чувствовал. Но к вечеру подскочила. Я в бреду, а из головы не выходит рассказ, который на меня произвел какое-то страшное впечатление. С одной стороны, — шедевр. С другой, — вся душа протестует против такого шедевра.

Очередное село ждет нашествия турок... Вы уж извините, что я вам пересказываю содержание, но так легче будет перейти к главному, к тому, что меня волнует... Люди в который уже раз собираются оставить родной очаг. Среди них семья богача, которая находится в явном замешательстве: что брать с собой, а что оставить? Кому не известна доля беженца, находящегося в дороге? Тут, конечно, каждый килограмм в обозе — гиря на ногах. И вот они решают не брать с собой больную женщину, парализованную сестру богача, Србуи... При одном этом имени у меня наворачиваются слезы. Она оказалась лишней. Ей не нашлось места в обозе. Мало того, кто-то из сыновей богача, желая успокоить родную тетю, говорит ей, мол, ты не бойся, турки тебя не тронут. Ты им скажешь: «Это мой дом...» Они ушли. Бедную Србуи оставили. Турки убили ее. Плохо мне стало после этого. Я знал, отчего у меня повышается температура.

— Демирчян показал не просто одну из многочисленных сцен геноцида. Он попытался раскрыть главное: до чего может довести человека человеконенавистническая политика целого государства. Ведь все тогда делалось именно на государственном уровне. И делалось не разом, не одномоментно. На протяжении веков. И в таких условиях трудно было оставаться человеком в самом высоком понимании этого слова.

— Не надо оправдывать Демирчяна. Я сам его ценю. Хотя считаю, не нужно было писать такого рассказа. В ту ночь, дрожа в лихорадке, я все думал, что надо встать и укрыть дочку. Я могу себя заставить встать, даже если упал замертво от усталости. Давно воспитал себя таким: даю команды и выполняю в обязательном порядке. Когда я подошел к дочке, почувствовал, что уже не могу удержаться на ногах. От высокой температуры тошнило. Думал, вот-вот остановится сердце. А тут еще бедная Србуи не выходила из головы. Качаясь и почти теряя сознание, я поправил одеяло.

Аршалуйс улыбнулась, по-прежнему избегая встречи со взглядом собеседника. Она слушала, поглядывая то в окно, то на книжную полку.

— А вы хороший отец, — сказала она, все еще улыбаясь. — Что же было после?

— А после... я сделал шаг и грохнулся на пол. А в мутной голове — Србуи. Ведь и она не могла двигаться. И ей было плохо. Я сравниваю не душевное состояние, а чисто физическое. Я подумал, как страшно, когда люди хотят сделать хотя бы один шаг и не могут! Страшно, когда человек не может спастись! И



еще, это уже по вашей части: не так страшно быть немощным, как беспомощным, брошенным на произвол судьбы. Страшно, когда это касается одного человека, но куда страшнее, когда речь идет о целом народе.

— Страшно. Но надо, наверно, как это вы сами делаете, заставить себя встать, если даже упал замертво. Это касается каждого в отдельности, это касается народа в целом.

\* \* \*

В ту ночь Бадунц не уснул. Лежал с закрытыми глазами и видел перед собой высохшего человека с землистым лицом. Как на телеэкране, кадр за кадром повторялись в деталях все эпизоды их беседы. И теперь, мучаясь бессонницей на больничной койке, он словно договаривал то, о чем не сумел-таки сказать. Иногда он открывал глаза и, убедившись, что до утра еще есть время, успокаивал себя: еще успею хоть малость поспать. Но когда показались очертания оконной рамы, он и не пытался закрывать глаза. Знал, что теперь уж не уснет, — утро для него наступило. С завистью прислушивался Бадунц к мерному дыханию своего соседа, который спал на боку, обняв обеими руками худую больничную подушку. Ловя себя на том, что все еще хочется разбудить Тонояна, он всякий раз краснел от одной только мысли, что мог бы себе позволить такое. Но когда больной переворачивался на другой бок, Бадунц с надеждой прислушивался, не проснулся ли сосед. Ему так хотелось поговорить. О чем угодно. Лишь бы поговорить с человеком. Люди отучиваются от общения друг с другом. В гостиницах хотят жить в отдельном номере. В больнице лежать в отдельной палате.

Тоноян проснулся как-то сразу, словно кто толкнул его. Открыл глаза, остановил взгляд на соседе по палате, который стоял у окна.

— Ты стоял у окна, когда я заснул, — сказал Тоноян. — Решил стать статуей?

— Уж лучше статуей.

— Чего это?

— По крайней мере, тревожные мысли не будут одолевать.

Тоноян сел на постели, стал шарить ногами по полу, пытается поймать тапочки. Он медленно накинул на плечи халат, подошел к окну:

— Знаешь, Бадунц, ты просто зануда. Бедная твоя жена.

— А при чем тут жена?

- И чего ты ноешь? Мысли, видите ли, тревожные одолевают.
- Сам виноват. Не надо было тебе в этом признаваться.
- Ну, давай, давай, теперь казни себя. Все дело в том, что ты пошел вчера к профессору. Кто тебя просил об этом?
- Что ты понимаешь?
- Невзлюбил я твоего профессора, и всё тут.
- Злой ты.
- Не злой. Просто я не верю здесь никому. И профессор твой сухарь. Вместо того чтобы спросить о моих детях, спрашивает о зарплате. Все они одним миром мазаны. А ты из-за него ночь не спал. Мысли тревожные...
- Ты не добрый!..

Тоноян махнул рукой, подошел к кровати и плюхнулся на нее. Он лежал на спине, скрестив руки на груди. Всем своим видом давал понять собеседнику, что разговор для него окончен.

— Ты, я вижу, обиделся на меня, — сказал Бадунц. — Это мы можем. Прямо какое-то национальное бедствие: ссориться, порывать отношения из-за мелочей. Вернее, не из-за мелочей — из-за правды. И удивительно: я тебя назвал «злым», а ты не обиделся. Сказал, что ты не добрый, — и сразу же полез в бутылку. Ну, чего молчишь?

— А что мне с тобой, кандидатом, говорить, — сказал Тоноян, глядя в потолок, — ты меня считаешь человеком не добрым, хотя, по идее, я ровно в два раза добрее тебя.

— Как это ты подсчитал?

— А очень просто. У тебя двое детей. У меня их четверо. Вот и посчитай. Может ли быть недобрым человек, у которого четверо детей?

— При чем тут дети?

— Я не верю в доброту мужчины, если у него мало детей.

— Даже в этом твоя недоброта. В жизни всякое бывает. Детей может вообще не быть. И это беда, а не вина.

— Не спорю. Но я по себе сужу: другим человеком был до появления первого ребенка. Мне тогда на все было наплевать. А потом всего себя перепахал. Когда родился четвертый, я подумал, что могу государством управлять...

— На меньшее ты, конечно, не согласен.

— Нет, не согласен. И нечего ехидничать. Я о другом. Серьезным я стал, думающим, если хочешь. А государством править могут только серьезные и думающие люди. И еще те, у кого много детей. Тогда будут больше думать о завтрашнем дне, а не только о сегодняшнем.

— Государством не может править человек, который относится ко всем с подозрением. И оскорбляет людей своим подозрением. Без доброты ничего не выйдет.

— Заладил, — сказал Тоноян.

— Да. Я всегда это буду повторять. Все, что есть на земле, — создано добрыми людьми. Мудрецы доживали до седых волос и понимали, что доброта — это солнце. Одни считали, что жизнь наша не что иное, как стремление к добру. Другие — что доброе дело не может быть сделано из ненависти, тем более из корысти. Оно делается только из любви. Одни призывали не уставая делать добро, пока молоды и сильны. Другие призывали не откладывать доброе дело, ибо всякая проволочка не только неблагоразумна, но и опасна...

— Что-то я не помню, чтобы мне делали добро. Жду всю жизнь. Мне никогда в жизни не везло.

— Побойся Бога. У тебя четверо детей.

— Не знаю, что на этот счет говорили твои седовласые мудрецы, а я так понимаю. Мне никогда не везло. Я же вижу, как иным везет. Раньше думал, хоть со здоровьем повезло, мог кулаком быка убить. А теперь — неизлечимый. Будешь тут добрым, когда знаешь, что обречен, а дети — мал мала меньше. Вот и злишься. Думаешь только о том, как бы выжить. Любой ценой. С тех пор как нарекли меня «неизлечимым», гробы сняты. Страшно видеть, как над твоим гробом рыдают твои дети. Так что я должен выжить. Вот и невзлюбил я твоего профессора за его холодность. И, если хочешь, я готов на все, лишь бы выжить. Лишь бы детей своих поставить на ноги.

— Но ведь и у профессора есть ребенок.

— Ну и что? У всех есть дети.

— И профессор должен своего ребенка поставить на ноги.

— Ну и что?! — крикнул Тоноян. Он сел на кровать и повторил все так же громко: — Ну и что?!

— А то, что ты донес на него.

— Что ты сказал?

— Я ошибся. Ты не доносил. Ты просто оклеветал. Намекнул, что он якобы неспроста справлялся у тебя о зарплате. И судя по всему, ядовитые зерна упали на подготовленную почву.

— На какую еще почву?

— На подготовленную, вспаханную. И я догадываюсь, почему доцент тебя обхаживает. Весь город знает, что он не ладит с профессором. Не любит старика и ищет любую зацепку, что-

бы использовать против него. А тут такой экземпляр подвернулся. Готовенький, тепленький...

— Ну ты, кандидат, я не посмотрю на твою ученость! Припечатать могу к этой белой стенке так, что мокрого места не останется. Ты говори, да не заговаривайся.

— Не припечатает. Можешь, конечно, но тебе ведь жить нужно. Так что ты в драку не полезешь. И потом, чего со мной драться. Я в жизни никого пальцем не тронул. Меня, правда, били в детстве.

— Мало били, как вижу... Черт! Фу, как сердце закололо... Мало били...

— Я был неплохой мишенью для тех, кто хотел покрасоваться перед девчонками. Я всю жизнь был хилый. В школе, в институте был освобожден от физкультуры. Меня можно припечатать к стене, но я все равно скажу, что доносчиков презираю. Плевал я на силу бицепсов. Они не перетянут моего презрения к доносчикам. У меня в родне, считай, никого не осталось из-за доносчиков и клеветников...

— Да уймись ты, псих!

— Я не псих. Я тебя презираю за клевету...

— Да уймись ты, черт возьми. Никакой я не клеветник. Доцент спрашивал, ну я и сказал, как профессор интересовался моей зарплатой. И все! Чего ерепениться, оскорблять понапрасну! Я же тоже человек. И у меня душа есть...

— Вся твоя душа ушла в бицепсы.

— Заладил опять. Готов уже и бицепсы в вину мне ставить. Я их, кстати, наработал не гантелями или утренней гимнастикой, а лопатой и киркой.

— Да я против бицепсов ничего не имею, — махнул рукой Бадунц. — Я даже радуюсь, когда вижу их на добрых руках. Просто бешусь, когда у человека кроме кулаков нет других средств доказать свою правоту.

\* \* \*

В городе только и говорили о том, что накануне люди задыхались от удушья, у них воспалялись и беспрерывно слезоточили глаза. Аршалуйс знала, что через день-другой людей одолеют другие заботы. О чем они будут хлопотать и что их будет заботить — уже, как говорится, другой вопрос. Аршалуйс в тот день волновало другое. Накануне задыхались от удушья здоровые люди, а больным вряд ли удалось выжить. По иронии судьбы именно в тот день Аршалуйс была на каком-то совещании,

где выступающие говорили большей частью о морали. И, пожалуй, чаще всего произносилось с трибуны словосочетание «моральные качества».

Дома Аршалуйс взялась за философскую литературу. Понимала, что задачу ставит перед собой не такую уж легкую: попытаться разобраться во всем многообразии этих самых моральных качеств. Например, есть моральное качество, которое характеризует способность человека преодолевать в себе чувство страха, неуверенности, боязнь трудностей и неблагоприятных последствий. Здесь предлагаются решительные действия во имя достижения цели, верность избранным идеалам и принципам вопреки враждебным обстоятельствам и давлению со стороны, откровенное выражение своего собственного мнения, даже если оно противоречит устоявшимся или санкционированным властью взглядам, непримиримость ко всякому злу и несправедливости.

У других людей моральные качества выражаются в принижении своего достоинства, в неверии в свои силы, в покорности по отношению к внешним силам, в готовности подчиниться судьбе, признать свое поражение, отказаться от надежд на лучшее будущее.

У третьих они проявляются в том, что человек не признает за собой никаких исключительных достоинств или особых прав, добровольно подчиняет себя требованиям общественной дисциплины, ограничивает собственные потребности соответственно существующим в данном обществе материальным условиям жизни народа, относится ко всем людям с уважением, проявляет необходимую терпимость к мелким недостаткам людей и одновременно критически относится к своим собственным заслугам и недостаткам.

Нет в жизни абстрактных моральных качеств. И не всякий имеет моральное право говорить о них. Нет ничего циничнее, чем с трибуны призывать к подвигу, почину, инициативе и совершать аморальные поступки. Говорить о подвижничестве и страдать расчетливым себялюбием, в основе которого лежит опасение навлечь на себя чей-либо гнев, страх потерять общественные блага, общественное положение, так называемое спецобслуживание...

Долго еще Аршалуйс перелистывала философские справочники. Делала выписки, спорила с мудрецами. Несколько раз решалась взяться за начатую накануне статью о земле, но ничего не выходило. Впечатления от совещания брали верх. Она

прохаживалась по комнате, всякий раз обходя кресло, журнальный столик, пуфик и другие преграды. Обстановка в доме месяцами оставалась неизменной, вещи никто не переставлял, так что маршрут для нее был привычным. Иногда она ускоряла шаг, иногда резко останавливалась, продолжая спорить сама с собой.

— А при чем тут религия?

— Дело не столько в самой религии, как таковой, сколько в соотношении морали и религии. Эти формы общественного сознания непосредственно связаны с вопросом о критерии нравственности.

— Есть общечеловеческие моральные принципы, которые выработаны на протяжении веков. Вот их и надо соблюдать.

— Но ведь известно, что Бог послал на землю Христа, чтобы тот искупил вину человечества и тем самым создал возможность будущего спасения людей от греха.

— Вот здесь-то собака и зарыта. Чтобы спастись от Страшного суда, да еще на том свете, надо здесь, на земле, иметь терпение, нужно надеяться на милость Божью и, конечно же, усмирить гордыню.

— Что ты предлагаешь?

— Борьбу.

— За кого и против кого? За что и против чего?

— За человека с его изначальным чувством собственного достоинства. Против тех, кто поднялся по служебной лестнице наверх, но при этом лишен способности осуществлять моральный самоконтроль, самостоятельно формулировать для себя нравственные обязанности, требовать от себя их выполнения и производить самоанализ и самооценку совершаемых поступков.

\* \* \*

В небольшом зале, предназначенном для проведения утренних производственных совещаний, собрался весь коллектив института. Все были в белых халатах. Кроме представителя из управления, который и начал совещание.

Сначала он говорил об общих успехах отечественного здравоохранения и медицины. Остановился на успехах института, вскользь сказал о дружном коллективе, который делает все, чтобы сохранить, как он выразился, нравственный микроклимат. Подчеркнул, что высоких показателей коллектив добился в первую очередь благодаря «здоровой критике и само-

критике». Ничто, говорил представитель из управления, не может пройти мимо зоркого взора коллектива. Затем он неожиданно приступил к теме, которую сам определил, как «сигналы, идущие из глубин народа». Речь шла о письмах трудящихся, в которых, по мнению представителя управления, заложен эффект лакмусовой бумаги: по цвету можно, оказывается, определить реакцию народа на то или иное явление в обществе, найти оценку, данную той или иной личности... И представитель управления, еще очень молодой человек, но уже со вторым подбородком и округлым животом, достал из кармана письмо, авторы которого, конечно, сумели «оценить» известную личность, сумели выявить и недостатки, которые имеются в институте.

Рузанна Аршаковна никак не ожидала, что письмо будет иметь хоть малейшее отношение к профессору. Она, конечно, как и все, уже была наслышана об анонимке, но никак не думала, что ее осмелятся читать вслух, читать в коллективе, которым руководит профессор. Она сидела в первом ряду, боясь шелохнуться. Ей казалось, что все смотрят на нее. Представитель управления читал медленно, как говорят, с чувством. В письме приводились цифры, показывающие высокую смертность в клинике, указывалось на то, что очень медленно растет число кандидатов и докторов наук под руководством профессора. В письме была строка о том, что он, как правило, справляется у больных об их зарплате. Рузанна Аршаковна подняла голову и посмотрела на представителя из управления, который читал письмо словно артист, знающий цену своему ораторскому таланту. Она с достоинством встала и направилась к двери. Лишь на миг оратор прервал чтение, взглянув на уходящую из конференц-зала женщину. И продолжил как ни в чем не бывало.

Рузанна Аршаковна зашла в свой кабинет. В зеркальце над умывальником она увидела свое отражение и резко отвернулась, словно противно было смотреть на собственное лицо. Она бросилась на кушетку, чувствуя какую-то осязаемую неприязнь к самой себе. Неприязнь из-за того, что не сразу поняла смысл письма и не ушла тотчас же.

\* \* \*

В тот день Рузанна Аршаковна начала обход с Бадунца и Тонояна. Она вошла в палату, когда ее обитатели продолжали спорить. Завидя ее, мужчины, словно мальчишки, которых уличили в шалости, бросились к своим койкам.

— Что, опять вам нейдет? Опять ссоритесь, — заметила лечащий врач, ставя аппарат для измерения кровяного давления на тумбочку.

— Это все он, — шутливо сказал Тоноян, — то ведет себя как прокурор, а то несет чушь какую-то.

— Вы не в духе? — спросил Бадунц.

— Все хорошо. Как спали? Собственно, с кого начнем?

— С него, — сказал Тоноян, — он всю ночь не спал, маршировал по палате. Все терзал себя.

— Всему виной вчерашний визит? — спросила Рузанна Аршаковна.

— Он самый, — ответил Бадунц.

Рузанна Аршаковна надела манжетку тонометра на руку Бадунца. Выпустив воздух из манжетки, вновь взялась накачивать резиновую грушу.

— Что, с первого раза не получилось? — спросил Бадунц.

— Получилось. Только хочу перепроверить. Подскочило давление. Сама виновата. Всю жизнь расплачиваюсь за то, что нет у меня твердости в характере. Взяла да и отпустила. Вот и результат.

— Сделали доброе дело, а теперь жалеете.

— Доброе дело должно всегда кончаться добром. Иначе — это зло, а не добро.

— Не всегда плохой конец говорит о зле. Смерть — это тоже плохой конец. Но она иногда бывает прекрасной.

— Оставьте вашу философию!..

— Вот-вот, — вмешался в разговор Тоноян, — он всегда так. Философствует.

— Дофилософствовался. Теперь надо назначать то, что было отменено. Тоже мне — прекрасная смерть! Все это красивые слова! Делом надо заниматься, делом...

Она перешла к кровати Тонояна. Измерила давление, послушала легкие и сердце, посмотрела ему в глаза и невольно подумала, что за грубыми чертами этого в чем-то очень неуклюжего человека видится большая открытая душа. Такой и высечет — словно приголубит.

Тоноян, уловив в глазах доктора доброе чувство к себе, смущенно сказал:

— Вот я смотрю на вас, Рузанна Аршаковна, и мне хочется, чтобы вы что-нибудь мне приказали. Хоть — в окно прыгнуть или Бадунца в окно выбросить.

— Бадунца не надо. Жалко его, — поддержав шутливый тон, сказала Рузанна Аршаковна.



— Он меня с удовольствием бы выбросил. Боится, как ложь правды, — заметил Бадунц.

— А ведь, Рузанна Аршаковна, мой сосед иногда бывает прав. Он сегодня правильно заметил: вы чем-то расстроены. Мы, конечно, не врачи, но тоже кое-что соображаем и видим. Я мало учился в школе. Но помню, как учителя меня хвалили. Только и было слышно: способный, но ленивый, уроки не учит, книг не читает, а пишет и говорит грамотно. До сих пор помню. Мимо меня ничего не проходило. Все замечал. Вот и сейчас прав Бадунц, я вижу.

— Лучше бы вы на себя посмотрели. Оба какие-то вялые, небритые.

— Непонятно, — вставил Бадунц, — почему врачи с больными обращаются как... с больным?

— А как же обращаться? — удивилась Рузанна Аршаковна, вставая с места.

— Как с добрым знакомым, которому не повезло, и он хвораёт.

— Не слишком ли много знакомых для одного человека?

— Работа у вас такая... А почему бы и врачу, когда у него тяжело на душе, не поделиться с больным. Может, глядишь, полегчает.

— Больной сам нуждается в помощи... Что же касается моего настроения, то это ничего, пройдет...

— Что-нибудь с профессором?

— Он еще не знает... — Рузанна Аршаковна осеклась, почувствовав, что сказала не то.

— Что с ним случилось?

— Ну что ты пристал к человеку! Видишь — ей нелегко, — оборвал его Тоноян.

— Что с профессором? — повторил свой вопрос Бадунц.

— На него написали анонимку. И сейчас зачитали письмо при всех.

— Ну, а люди что? — вскинулся Бадунц.

— Люди ничего. Они слушали.

— Кто же читал? — едва слышно спросил Тоноян.

— Это не имеет никакого значения.

— Пожалуй. Как говорится, вопрос техники. Как это было прекрасно в далекие времена — «кальмюниатор», — сказал Бадунц.

— Что? Не понял? — переспросил Тоноян.

— Я говорю, в Древнем Риме существовали удивительные законы. В то время очень легко справлялись с клеветниками. На лбу такого мерзавца выжигали букву «к» от слова «кальмюниатор», клеветник.

— Анонимщика еще нужно обнаружить, — сказала Рузанна Аршаковна, медленно направляясь к двери.

— Портрет невидимки, — протянул Бадунц, глядя ей вслед.

— Портрет невидимки, говоришь? Мне кажется, я знаю этого невидимку. Догадываюсь, — сказал Тоноян.

— Как можно читать письмо при всех?! — Бадунц не мог успокоиться.

— Знать бы, что там написано.

— Разве это имеет значение, — вздохнул Бадунц. — Разве не ясно, что может написать кальмюниатор о человеке, который посвятил свою жизнь людям.

— Что теперь ему будет?

— Профессору уже ничего не будет. Ему, я точно знаю, мало осталось дней. Можно сказать, совсем мало. Он об одном сейчас думает: завершить свою работу. Себя он уже не спасет, но нас и еще сотни тысяч людей на этой земле, может, спасет. И не только их, но и неродившихся еще детей.

— А — если он не успеет?

— Дело завершит кто-то другой. Но это уже будет потом. Неизвестно когда.

— Я в жизни ни одной книги до конца не прочитал, но книгу профессора о нашей болезни одолел. Правда, многое не понял, но зато усвоил, что болезнь в определенные сроки подтачивает организм. Значит, профессор знает о дне своей смерти. Уж для себя-то он высчитал точно... Чего мы сидим сложа руки?

— Ты о чем? — спросил Бадунц.

— Надо сделать все, чтобы профессор успел завершить свою работу. Вон по телевизору говорят, что мертвых с того света возвращают, что люди с чужими сердцами на велосипеде катаются. А тут у человека всё на месте. Неужели нельзя бросить все силы и продлить человеку жизнь хоть на немного. Многим трудно. Но одному можно.

— Как видишь, уже кое-что сделано.

— Что именно? — спросил Тоноян.

— Написана анонимка.

— Подумаешь, кусок бумаги. По ней уборная скучает.

— Для честного и хрупкого человека подобный кусочек бумаги хуже ядовитой змеи. Я уверен, в анонимке написано и о том, что профессор своих больных лечит за деньги. По крайней мере, спрашивает их о зарплате...

Тоноян не дал договорить. Замотал головой.

— Нет, — громко сказал он и повторил: — Нет! Нет!

\* \* \*

Профессор Аматуни не услышал, как открылась дверь и вошла дочь. Он вздрогнул от неожиданности, завидя ее — долговязую девочку с красивыми раскосыми глазами и прямыми волосами, падающими на плечи.

— Ты меня напугала, доченька, — сказал Аматуни, продолжая сидеть за рабочим столом.

— А когда ты пугаешь — ничего?

— Ты лучше раздевайся и бегом на кухню! Поищи там чего-нибудь. Поставь чай...

— Сейчас. Только прежде скажи, отчего люди пугаются?

— Испуг тоже нужен человеку. В жизни всякое случается. И надо быть готовым...

— А что может в жизни случиться?

— Ну, хотя бы, если девочка вовремя не поест, то будет плохо учиться...

— Ты никогда со мной не говоришь серьезно. Между прочим, я уже могу не кушать.

— Почему?

— Бесплезно. Я уже получила сегодня тройку.

— И ты так спокойно об этом говоришь отцу?

— Сам учил: надо быть честной и искренней. И еще говорил, что не надо делать трагедий из пустяков. Накануне я получила две пятерки по математике, и ничего такого не произошло. Все осталось на своих местах. Почему же тройка должна что-то изменить?

— Странная философия.

— Это твои слова, папочка. Ты так сказал маме, когда она очень переживала после моей первой тройки.

— И ты запомнила?

— Я ничуть не старалась, просто они запомнились сами по себе. Когда мне бывает очень больно, я говорю себе: «Не делай трагедию из боли». И все проходит.

— Совсем?

— Ну, не совсем. Но становится легче.

- Это интересно. А ну, продолжай!
- А что тут продолжать? Боль и есть боль. Появится — исчезнет.
- Скажи-ка мне, знаешь, чем занимается твой отец?
- Лечит больных людей.
- Все врачи лечат больных людей. А чем я конкретно занимаюсь?

— Лечишь неизлечимые болезни.

Профессор Аматауни засмеялся. Он с трудом встал со стула, подошел к дочери, прижал ее к себе. Она уткнулась в него и стала носом водить по его худой груди.

- Ты моя доченька, — сказал Аматауни тихо.
- Ты мой папочка, — отозвалась девочка, не отрываясь от отца.
- Пойдем на кухню, сварганим что-нибудь. Я тоже есть хочу.
- Я сама.
- Нет, вместе... И поболтаем.

Отец с дочерью недолго возились на кухне. Общими усилиями приготовили любимое для обоих блюдо — яичницу с колбасой. Они не хотели скрывать друг от друга, что им сейчас хорошо, что они в эти минуты по-настоящему счастливы.

— Вот ты говоришь, что я лечу неизлечимые болезни, — сказал отец. — А разве можно лечить неизлечимое?

- Нужно.
- Ты хорошо сказала.
- Это ты так однажды говорил, а я запомнила...
- У тебя всегда так?
- Как?
- Вот так. Запоминаешь лишь то, что говорят другие.
- Нет, не всегда. Я запоминаю больше всего то, что говорит мой папа.

- Ну, а что я говорил о боли?
- Много. Ты говорил, что боль — это твоя специальность.
- Я так не мог сказать.
- Ты именно так говорил, папа.
- Кому?
- Ты сказал по телефону: если можно говорить, что машины — это чья-то специальность, вода — чья-то специальность, то почему нельзя сказать, что боль — моя специальность.

— Как-то в этом роде я мог выразиться. Собственно, так в принципе и есть. Вот ты сказала, что боль как появится, так и проходит. А что такое боль?

- Когда болит, например, голова.
  - Ну, а что же это такое? Вот мы знаем, что такое яйцо, что такое колбаса, что такое яичница. Можем подробно рассказать о цвете, вкусе, о чем угодно. А боль?
  - Боль — когда плохо. Сильная боль — когда очень плохо.
  - По большому счету ты права, конечно. А вот древние говорили, что боль — это сторожевой пес здоровья...
  - Почему?
  - Ну вот скажи, можно ли жить без чувства боли?
  - Но ведь боль — это плохо. Значит, без нее хорошо.
  - Хорошо-то хорошо. Но можно ли жить? Предположим, ты рукой дотронулась до горячего утюга, а чувства боли у тебя нет. Что тогда?
  - Обожгу руку.
  - Значит, боль предупреждает... А разве сторожевой пес своим лаем не предупреждает об опасности, о том, что в дом крадется вор?
  - Я не понимаю, папа. Странно как-то получается. Выходит, и без боли нельзя, и с болью тоже плохо.
  - Выходит так. Когда у тебя во время болезни поднимается температура, это хорошо или плохо?
  - Температура — плохо. Голова болит. Кушать не хочется.
  - Температура, как и боль, очень помогает человеку.
  - Ты сегодня какой-то не такой.
  - Какой?
  - У тебя сегодня все плохое — хорошее. Значит, и моя сегодняшняя тройка — это хорошо, — дочь засмеялась.
  - Хорошо, — согласился отец и тоже расхохотался.
- ...Переодевшись в спортивный костюм, дочь после обеда убежала на улицу. А матуни несколько раз собирался приступить к работе, но знал, что обмануть себя не сможет. Разговор с дочерью очень обрадовал его. Они беседовали каждый день, иногда серьезно, иногда беспечно. Часто дочка рассуждала совсем как взрослая, как умудренный жизненным опытом человек. Последний разговор не выходил сейчас у него из головы. У дочери, оказывается, цепкая память. Она не просто запоминала слово в слово те или иные фразы, но и смысл... Хотя опять умудрилась схватить тройку. Серьезность Кнарлик не по возрасту вовсе не случайна. Говорят, дочери, лишившись матерей, рано взрослеют. Это плохо. Если трудно обмануть себя, то просто невозможно обмануть природу. Всему свой срок. Великая формула. Садовники хорошо знают, что деревья, кото-

рые зацвели раньше других, плохо плодоносят. «А как она толкует о боли!» — вслух произнес Амадуни. Чувствует, что в самой боли есть и справедливость и несправедливость. Хотя, если по-настоящему, то никто до сих пор не знает, что же такое, в конце концов, боль? Ребенок объясняет ее через «хорошо» или «плохо». Поэты сравнивают ее по размерам с космосом, со Вселенной: «Все суета, все преходящий сон. И свет звезды — свет гибели мгновенной. И человек — ничто. Пылинка в мире он, но боль его громаднее Вселенной». И от сознания этого она еще больше покрывается тайной. Кто-то из ученых так и заключил: боль — это не только проблема, но и тайна. Точно сказано. Эти слова Амадуни выписал из книги Виктора Островского, который много писал о боли. Боль — это не только проблема, не только тайна. Это — «зло». И пусть слово «зло» написано в кавычках. Суть не меняется. Бессмысленный элемент жизни. «Зло», противостоящее жизни. Помеха и постоянная угроза, превращающая человека в жалкое существо, умирающее тысячу раз подряд.

А как это страшно — умирать тысячу раз подряд. Никого не удивляет, когда чуть ли не с радостью говорят о близком человеке, умершем без мучений, без боли, без страданий. Лег и не проснулся. Сидел, работал — и вдруг не стало: умер, как жил. А великий поэт армянской земли Шираз рано утром баловался с крошкой-сыном и потерял сознание... Вобрав в себя боль своего народа, поэт презирал физическую боль. Она ему была противна и вызывала омерзение. Из-за нее человек опускался до раба собственной боли. А раб — всегда раб. За всю свою жизнь поэт ни разу не обратился к врачу, хотя здоровьем не мог похвастаться. Ни разу не слышал жужжания бормашины, хотя очень страдал от зубной боли. И не ждал, пока боль доконает его, сам вырывал зуб щипцами. Не принимал никаких разговоров о времени, о культуре современного человека, который, видите ли, обязан следить за своим здоровьем. Нет никакой такой особой культуры современного человека и отсутствия ее у человека прошлого. Во времена Нарекаци не было бормашины. И неизвестно, как переносил собственную боль гениальный поэт. Боль, по мнению Шираза, надо презирать, как врага.

Не все рождаются поэтами. Не все переносят боль, презирая ее. Не все способны медленно, но верно убивать в себе раба. Человек, не имеющий возможности избавиться от боли, обречен на смерть. Неизлечимая болезнь, изучению которой посвятил себя профессор Амадуни, вся соткана из боли: всам-

делишной, осязаемой во время частых приступов. «Я переживаю, что дочь моя стала не по возрасту серьезной после смерти матери, — рассуждал Аматауни, — не скрываю от себя, что скоро она станет круглой сиротой... Как определяется боль? Это своеобразное психическое состояние человека, совокупность физиологических процессов в центральной нервной системе. Все это кажется слишком правильным. И поэтому не окончательным. Мы все спорим, что в коре головного мозга существуют специальные болевые центры, имеются периферические рецепторы, воспринимающие то или иное раздражение в виде боли, и так далее. Ерунда. Лучше всех сказала моя дочь. Боль — плохо. Сильная боль — очень плохо. И такая формула воспринимается не рецепторами, а самим человеком, его сущностью. И вовсе не случайно, что не ощущаешь боли, когда теряешь сознание. Всё на месте — кора головного мозга, периферические нервы, рецепторы. А боли нет, потому что нет сознания. Значит, боль прекращает существовать только тогда, когда прекращает существовать человек. И пока он есть — будет боль, которая громаднее Вселенной. Пока есть жизнь на земле, женщины будут рожать своих детей в муках. В муках — значит, чувствуя боль. Боль и рождение всегда рядом. Счастье не воспринимается само по себе, если оно не пришло вместо беды... Но я не приемлю никакой философии, когда дело доходит до судьбы моей дочери. Я не родился героем. Я не принадлежу к тем, кто может пожертвовать собственным ребенком ради спасения людей. Не может спасти людей тот, кто способен пожертвовать собственным ребенком. Есть одна религия — спокойно умереть самому, если ты знаешь, что своей смертью продлишь хоть на миг жизнь своего ребенка, если ты осознаешь, что принесешь свободу родине. Военные хирурги в своих трудах отмечали, что солдат, которому посчастливилось выжить после страшного боя, не чувствует боли даже от тяжелых ран. Происходит это от чувства... победы. Победа — это главный флаг свободы. А свободный человек переносит боль намного легче раба».

\* \* \*

Кабинет Рузанны Аршаковны представлял собой крохотную комнатку. Письменный столик, типовая больничная кушетка и больничная тумбочка, которые можно встретить даже в наисовременных клиниках, оснащенных по последнему слову техники. Такая мебель упорно держалась еще со вре-

мен войны. Молодые организаторы здравоохранения охотно меняли ее на современную, модную, лакированную. Но в тех лечебно-профилактических учреждениях, где трудились врачи, прошедшие дорогами войны или помнившие войну, сохранилась, как правило, старая больничная мебель. В самом деле, зачем отказываться от невысокой тумбочки — два крошечных ящичка с деревянными пупками-ручками, двустворчатая дверь, две, а то и три полки. В этом, как пишут в отчетах, инвентаре можно держать все что угодно: и еду, и лекарства, и бумаги, и даже ценные вещи, место которым в сейфе. Рузанна Аршаковна хранила в своей тумбочке письма больных. Они были адресованы не ей, а профессору Аматауни, который на них не отвечал. Собственно, на письма больных, наверно, редко кто из врачей отвечает. Как правило, это чувство благодарности, выраженное в нескольких, иногда очень похожих друг на друга фразах, мыслях. Письма приходили на адрес института. И становились, что называется, официальными документами. Чаще всего на конверте отмечалось «лично», и все равно они регистрировались. Профессор получал их обычно с утренней почтой, читал молча. Никогда никому их не показывал, не зачитывал вслух выдержки, не поручал подготовить ответ, хотя бы сохранить. Однажды Рузанна Аршаковна пристыдила профессора за такое вот, как она говорила, нерадивое отношение к письмам, которые валялись чуть ли не во всех кабинетах. Тогда он и решил, что Рузанна Аршаковна возьмет над ними «шефство». Иногда она даже отвечала авторам писем, но чаще всего они не претендовали на обязательный ответ: на конверте нередко не было обратного адреса или подписи стояли неразборчивые. Вначале письма очень мешали в тумбочке. Затем Рузанна Аршаковна стала связывать их пачками. Вскоре занятие это ей даже пришлось по душе. Словно хобби такое. Дело, конечно, не в какой-то там страсти к собирательству, а в профессоре Аматауни. Сотни, тысячи людей пишут ему. Пишут, хотя прекрасно понимают, что обречены. Многие авторы уже умерли. Так что сами по себе эти письма являются уникальными документами, которые, может, когда-нибудь понадобятся летописцам. Некоторые письма она держала отдельно, перечитывала. Случалось, и читала вслух в присутствии самого профессора. Он слушал и говорил: «Не помню. Я уже забыл». А однажды, услышав отрывки из письма, он попросил прочитывать его от начала до конца. Рузанна Аршаковна выполнила его просьбу:



«Дорогой Сурен Самсонович! Когда Вы получите это письмо, меня не будет в живых. Дни, а возможно и часы мои сочтены. Но я не печалюсь. Ведь я, можно сказать, прожил лишних два года. Их подарил мне профессор Амадуни. Я теперь сознаю, что прожил сорок семь лет и два года. И если бы не эти два года, то те сорок семь были бы безвозвратно потеряны, лишены всякого смысла. Я сорок лет служил кому-то. Мне всегда казалось, что я рожден быть в лучшем случае вторым. Второй скрипкой, вице-чемпионом, заместителем. Словом, кем угодно, только не первым. И я никогда не стремился быть первым, даже боялся этого. Но в то же время я, сколько помню себя, всегда ненавидел тех, кто был впереди меня: и отличников в школе, и красавчиков, которым так легко все давалось в жизни, и собственного начальника, хотя служил ему верой и правдой. Так было сорок семь лет. Не думайте, Сурен Самсонович, что я стал другим. Ничего подобного. Человека не то что после сорока семи, даже после семидесяти лет не изменишь. Уж каким он уродился, таким и быть ему до конца дней. Зная, что умру, я не давал пощечины подлецам, не боролся за справедливость, не писал жалоб. Я просто-напросто однажды осмелился стать свидетелем в суде. Вряд ли я бы сделал это раньше. Да и дело, казалось, случилось пустяковое. Шел я по полупустынной улице поздно вечером и увидел собственными глазами, как машина выскочила из-за угла и врезалась на бешеной скорости в бок другой машины. Первый раз в жизни я видел так близко аварию. Запомнился невероятный грохот от удара. Сморщенные «Жигули» разных цветов стояли на перекрестке, высвеченные ярким светом уличного фонаря. Я подошел к месту аварии. К счастью, никто не пострадал. Из машины, которая шла, так сказать, своей дорогой, вышел пожилой человек со спокойным лицом. Он медленно и без суеты осмотрел обе машины, терпеливо ожидая, пока выйдет тот, кто нарушил правила. Наконец вышел и нарушитель. Средних лет, с круглым свисающим животиком. Одет модно. По всему видать, не из бедных. Он и не помышлял разглядывать изуродованные машины, лишь небрежно бросил: «Мне некогда здесь сцены разыгрывать. Назови свою цену, и мы разойдемся». Пожилой водитель ничего не ответил. Он все поглядывал по сторонам, ждал милицию. «Ты что, оглох от удара?» — бросил человек с круглым животом. В ответ — молчание. «Смотри, старик, как бы тебе не прогадать. Я тебе по-хорошему говорю: назови цену, и разойдемся, как в море корабли». Старик продолжал смот-

реть по сторонам. У машины стали собираться люди. Узнав, что жертв не было, иные разочарованно уходили прочь. Нарушитель взял за плечо старика и довольно громко сказал: «Послушай, кляча...» Я хорошо слышал это самое слово «кляча». Голос человека с круглым животом неожиданно для всех заглушил мощный, глухой удар в челюсть. Я увидел только, что нарушитель упал на асфальт, как мешок с капустой, сброшенный с плеча. Именно в это время подкатила мигающая голубым светом милицейская машина. Народу прибавилось, стало шумнее. Все говорили, и никто никого не слушал. Нокаутированного человека с круглым животом долго теребили, легонько шлепали по щекам. Наконец, он пришел в себя. Но судя по всему, шок еще не прошел. Наконец, человек с круглым животом оправился, встал на ноги, шатаясь подошел к одному из милиционеров и что-то такое сказал тому на ухо. Вдруг все завертелось, закружилось. Я не буду у вас, дорогой Сурен Самсонович, отнимать много времени. Но, если бы вы знали, что было со мной после этой аварии! Из всей толпы никто не захотел быть свидетелем. Да и милиция не очень-то настаивала. Я все же записался, назвал адрес, телефон... Скажу, забегая вперед, мышьяная возня длилась долго. Бумаг исписали больше, чем надо. Человека с круглым животом с самого начала оформили как пострадавшего. А старика собирались судить за нарушение правил уличного движения и за хулиганство. Вы спросите, кто был этот человек с круглым животом? Капитан милиции. Всего-навсего. Я все боялся, что смерть, которую я ждал, наступит раньше, чем закончится вся эта история. Старик в молодости был судим за драку. В два счета его могли бы бросить за решетку. А я — единственный свидетель — не имел права умирать. Так и вышло: если бы не я, угробили бы старика. Хотя ему не было и пятидесяти, просто он выглядел очень старым. Помните, вы мне сказали на прощание: «Не надо считать дни. Надо жить. И оставаться до конца человеком». Я старался остаток дней прожить человеком. Удалось или нет, не знаю, Но у меня никогда не было так хорошо на душе. Конечно, хотелось бы жить и жить. Но что поделаешь?! Я благодарен судьбе, что был вашим современником».

Прослушав до конца письмо, Аматауни попросил Рузанну поднять из архива историю болезни автора письма — так легче всего вспомнить пациента. Ему нужен был телефон автора. Хотелось позвонить и справиться о его судьбе. Так профессор и сделал. Ему сообщили о смерти больного, назвали дату. Весть о

кончине пациента Аматауни принял спокойно. По дате, указанной на конверте, выходило, что автор письма умер через день после того, как написал его. Умер в день, о котором заранее знал лечащий врач, профессор Аматауни.

Рузанна в который уже раз раскладывала письма в тесной тумбочке, наводила порядок на столе, то и дело поглядывая на дверь. Она ждала журналистку. О визите договорились с Аршалуйс Гукасян накануне. Рузанна догадывалась, о чем пойдет разговор. И поэтому перед встречей перебирала письма. Вдруг понадобятся. Письма — это голоса людей. В них исповеди тех, ради которых и существуют больницы, институты, врачи, наконец.

В дверь постучали. Постучали как-то тихо, робко. И Рузанна ничуть не удивилась, когда в дверях вместо журналистки увидела Тонояна. Так мог стучать только пациент, который хорошо знает, что ему нечего делать в кабинете.

— Можно? — тихо спросил Тоноян.

— Если не надолго.

— Я о профессоре...

— Не понимаю.

— Это я сказал доценту о том, что профессор намекал...

— Я знаю.

— То и дело слышишь, мол, знаем этих врачей, особенно профессоров. Все они одинаковы, все берут. Не дашь — на тот свет отправят не моргнув глазом. А тут вопрос о зарплате. Откуда мне было знать, что он тем самым стыдит меня, укоряет. А тут доцент стал меня обхаживать. Уж такой ласковый...

— Ладно, идите в палату.

— Я не хотел. Не думал...

— Вы повторяетесь. И заставляете меня повторяться. Идите в палату.

Тоноян резко повернулся. В дверях стояла стройная женщина с высокой прической. Он прошел мимо нее, прижимаясь к стене.

— Станный человек, — сказала Аршалуйс, закрывая дверь.

— Немного грубоватый, но человек неплохой. Проходите. Садитесь вот сюда, на кушетку.

— С чем это он приходил? — спросила Аршалуйс, садясь на край кушетки.

— Все по поводу анонимки. Каялся. Говорил, что его неправильно поняли, он не хотел клеветать на профессора.

— И больные уже знают об анонимке?

- Они узнали первые, — сказала Рузанна Аршаковна.
- То, что было у вас на пятиминутке, стало достоянием всего города. Я не знаю, кто и как за это будет отвечать, но сейчас надо думать о другом. Надо сделать все, чтобы профессор не узнал об анонимке.
- Да, он не выдержит. Он будет смеяться, махнет рукой... Но я знаю его, он не выдержит. Я его очень хорошо знаю.
- Нельзя смеяться, когда тебя оклеветали, — заметила Аршалуйс.
- Если о письме скажу я, он будет смеяться и успокаивать. Но если о нем скажет, например, начальник управления, с которым Амагуни работал раньше в районе, то тут совсем другое.
- Насколько я понимаю, анонимщик вас имеет в виду, когда пишет о связях с сотрудницей?
- Об этом давно сплетничают.
- У вас...
- У нас ничего. Это у меня, у меня любовь. Просто я в роли добренькой «вдовы», которая старается хоть чем-то помочь равнодушному и холодному вдовцу. Я вижу, как мается человек с дочерью-подростком. Я не просто мать. Я мать-одиночка. Так сказать, брошенная. Вот и вы неслучайно спросили «у вас»...
- Это вам показалось. Мы с вами хотим одного: уберечь хорошего человека от зла. Чем обычно заканчивается навет, наговор, клевета на честного человека — известно. И вы сами пожелали со мной встретиться.
- Вы уж извините, я стала ужасно подозрительной и мнительной. Если бы вы знали, что значит в наше время называться матерью-одиночкой. Приходит утром медсестра на работу, под глазом синий фонарь, лицо помятое, с желтыми пятнами от старых синяков, а она, знаете, счастлива, еще весело хохочет. Муж побил. Вчера побил, сегодня приголубит. Зато у детей есть отец. И ее, глядишь, пожелают на работе, приласкают даже. Мол, бедняжка, достается ей от изверга. И уважают ее. Могут даже премировать, скажем, к Восьмому марта, на Новый год.
- Так сказать, компенсация за синяки, — засмеялась Аршалуйс.
- Смешно, но так и выходит. Тысячу раз могла выйти замуж, когда дети еще были маленькими. Были, честно говоря, неплохие предложения. Но понимала, что не смогу. Выйти замуж — значит лишиться себя возможности посещать профессора, обстирывать его... Да-да, обстирывать. Ухаживать за ним, делать покупки. Он же ничего этого не умеет. Вот уже который

год его дочка носит домой только то, что я покупаю в магазине. Покупаю, конечно, на деньги профессора. Чуть ли не через день готовлю обед, иногда просто в кастрюле принесу... Вначале он сопротивлялся, но я настояла на своем. У него же никого нет. Двоюродный брат, правда, но у того своя семья большая. Овдовел, когда дочурка была еще крошкой, во второй класс ходила. Жена погибла в автомобильной катастрофе. Девочке нужен был уход. А какой может быть уход без женщины? Знаете, вот я вам говорю про любовь, но я ее себе нарисовала, вбила в голову. И вбила гвоздем без шляпки так, что и не вытащить. Я лучше других знала о работе профессора. Со всех концов мира приходили письма, писали не только коллеги, но и больные. Есть страны, где именем профессора названы общества. Я жила тем, что делала для него... и, что скрывать, для себя.

— Простите, но я не понимаю. Почему вы не связали свои судьбы?

— Он никогда не говорил о своей покойной жене, но я видела, что он не может забыть ее.

— И все же я не понимаю...

— Это было невозможно.

— Почему? Вы же оба свободны.

— Сначала я ждала, что сама жизнь покажет естественность, что ли, подобного выхода. Когда же время пришло, объявилась и проклятая болезнь. Тогда мы поняли, что не сможем пожениться. Он как-то даже пошутил, что не хочет быть причиной того, чтобы я овдовела дважды. Профессор хочет теперь только одного: успеть завершить свою работу.

— Я уже несколько дней занята, если можно так выразиться, делом профессора. И знаете, все никак не могу привыкнуть к мысли, что вот так запросто и он, а теперь и вы, говорите о стопроцентной обреченности, о чуть ли не точной дате смерти...

— У нас профессия такая. Еще точнее, у нас специальность такая. Вас удивляет, а мы уже привыкли. Ничего не поделаешь. И самое страшное, что ничего здесь удивительного нет. Просто известно, за какое время болезнь подтачивает тот или иной орган. Болезнь делится на стадии. При последней стадии можно довольно точно определить сроки.

— Тогда в чем смысл лечения, если известен срок непереносимого финиша?

— Это уже разговор на целую лекцию. Такой вопрос часто задают и сами больные. Если коротко, то лечением мы удлиняем сроки самих стадий. И чем раньше поставлен диагноз, тем

больше шансов продлить сроки. Но, заметьте, болезнь не излечить до конца. Она входит в рубрику неизлечимых. При последней стадии достаточно нескольких анализов, чтобы довольно точно говорить о прогнозе. Да, ко всему этому я привыкла. Но я не могу привыкнуть к тому, что обречен именно он. Я видела сотни смертей. Есть доля правды в том, что с каждой смертью умирает и врач. Но тут другое. Тут дорогой твоему сердцу человек, частица твоей собственной жизни!..

— Неужели все так фатально?

— Вы, наверно, не раз обращали внимание: чем бы ни болел человек, какая бы высокая температура ни была — но не больше сорока двух, — он сознания не теряет. Организм делает все, чтобы в первую очередь спасти мозг. Даже во время больших кровопотерь происходит так называемая централизация: остатки крови текут к мозгу. Надо спасать его в первую очередь. При высоких температурах мозг спасается тем, что у организма есть гематоэнцефалитический барьер, не позволяющий инфекции проникнуть в голову. Так устроила нас природа. Но мы имеем дело с болезнью, при которой, кроме всего прочего, на определенной стадии разрушается этот самый барьер. Во время приступов появляются сильные боли во всем теле, в каждом органе, в каждой клетке. Впервые это определил профессор. Ирония...

— Вы имеете в виду иронию судьбы?

— Понимаю, — смутилась Рузанна, — фраза затасканная. Но смысл уж больно верен. Тут не то что сапожник без сапог или — голодный хлебопек. Тут... как бы поскладнее. Я сравнила как-то. Предположим, что после кораблекрушения люди оказались в пучине. Это как раз те самые неизлечимые. И среди них великолепный пловец — профессор Аматуни.

— Прямо как Шаварш Карапетян, — улыбаясь, вставила Аршалуйс.

— А что! Если сравнивать по мастерству, то Шаварш был профессором своего дела, иначе не смог бы спасти двадцать человеческих жизней. И все же в нашем случае все иначе. Шаварша в случае чего могли бы спасти другие. Люди, потерпевшие кораблекрушение в шторм, — обречены. И профессор Аматуни, и простые смертные — пассажиры.

— Я не очень улавливаю образ, сравнение.

— Отличный пловец помогает своим товарищам по несчастью взобраться в качающуюся на волнах лодку. Люди спасаются. Хотя их не покидает тревожная мысль, что спасены они лишь на время. В такой шторм очередная шальная волна все

равно перевернет крохотную лодку. И все погибнут. А может, и свершится чудо. Только сам спаситель не в состоянии взобраться в лодку... Он продолжает спасать и, обессилев, тонет...

— Рузанна Аршаковна, а если подоспеет спасательная служба?

— Не всегда, к сожалению, могут успеть спасатели. Положение сейчас такое: и ураган, и спасать некому...

Дверь резко открылась, и в кабинет без спроса вошел Бадунц. Женщины умолкли от неожиданности.

— Рузанна Аршаковна, — сказал вошедший, скрывая волнение и не дав присутствующим опомниться, — я просто не понимаю.

— Успокойтесь, Вазген Левонович!

— Я не понимаю...

— И я не понимаю, что вы хотите...

— Неужели не ясно, кто писал анонимку?..

— А вот это уже вас не касается, — строго и довольно резко сказала Рузанна Аршаковна.

— Это же так ясно...

— Идите в палату. Не знаю, что кому ясно, но я не признаю самодельных шерлок холмсов.

— А как вы определили автора анонимного письма? — вмешалась в разговор Аршалуйс.

— Дело ясное, как божий день.

— Ну, положим, божий день не такая уж ясная штука, — возразила Аршалуйс.

— Так говорят в народе. А дело действительно ясное. Тоноян сказал доценту, тот глупость переложил по-своему. Все мы знаем, что доцент не ладит с профессором. Разве не ясно?

— Не ясно, — перебила Рузанна Аршаковна, — я прошу, не вмешивайтесь в это дело. Насколько правильно расценится сам факт, что больной в курсе этих склоков?

— Ну, это уже не секрет. Я даже слышала разговор в автобусе. Тут другое: надо, чтобы профессор не узнал. Плохо, что в таких случаях мы больше интересуемся личностью анонимщика, но не беспокоимся о жертве. Автора анонимного письма, уверена, найдут, — сказала Аршалуйс.

Раздался телефонный звонок, и все одновременно посмотрели на аппарат. Рузанна взяла трубку. Хозяйка кабинета довольно громко сказала в трубку: «Хорошо, я сейчас спущусь вниз, а вы пока измерьте давление!»

— Что-нибудь случилось? — спросила Аршалуйс.

— Привезли тяжелого больного... Кстати, я волнуюсь, когда беседую с вами. Слежу за своей речью: как-никак литератор, да еще такой популярный. Я до сих пор так и не знаю, как надо сказать: тяжелый больной или тяжелобольной?

— Какое это имеет значение? И то и другое — человеческая драма...

— Ну, вы тут побеседуйте, а я — сейчас. Должна осмотреть больного. Сегодня я дежурю...

В крохотном кабинете едва могли разместиться два стула. И может, поэтому во время беседы никто не решился на них сесть. Бадунц на правах хозяина — как-никак он лежит в клинике, значит, у себя дома — предложил журналистке стул. Делал он это, ничуть не скрывая радости от того, что дежурный врач предложила им занять друг друга, пока она не вернется. Значит разговор не окончен. Разговор о профессоре Амадуни. Вернее, об анонимке. Вазген Бадунц чувствовал неловкость от собственной активности. Боялся, что его не так поймут. Есть люди, которые, что называется, суют нос везде и всюду. Вроде и не придерешься, по-человечески ведут себя, а нет ощущения, что они искренни. И на чью-то свадьбу успеют, и на панихиду. И не только успеют: сделают все, чтобы их непременно заметили. И сделают это шумно, навязчиво. Бадунц не любил таких людей. Как-то даже сторонился их.

Бадунцу захотелось продолжить разговор с журналисткой и хоть как-то оправдаться перед самим собой. Он понимал, что все его рассуждения — от внутренней закомплексованности. Но уж кого-кого, а себя самого человек воспринимает всегда таким, какой он есть. Совершенным, даже в своем комплексе неполноценности.

— А я вас не такой представлял, — с ходу начал Бадунц.

— Не понимаю.

— Всегда читаю вас с удовольствием, но видеть не доводилось. Вы, как бы это сказать, не очень похожи... Для журналиста слишком красивы.

— Благодарю...

— Нет, серьезно. Трудно поверить, что это вы пишете такие проблемные статьи, хлестко бичуете клеветников, анонимщиков. Я бы даже сказал, будоражите общественное мнение... Помню, после очередной статьи об анонимщиках у меня возникла потребность помочь вам. Думаю, такая потребность возникает у многих...

— Мне многие помогают.



— Я понимаю. Я о другой помощи. Вам же примеры нужны...

— Примеров, к сожалению, много.

— Я о другом. Я о примерах для сравнений, для размышлений. Вот, к примеру, такой случай. В 1902 году на острове Мартиника было извержение вулкана Мон-Пеле. Раскаленной тучей он накрыл город Сен-Пьер с населением тридцать тысяч человек. Все тридцать тысяч мгновенно были погребены. Погиб город, в котором бурлила жизнь. Там жили поэты и влюбленные. Смерть настигла людей в разных позах. Всех: и тех, кто готовился к свадьбе, и того, кто завершал книгу, и тех, кто...

— Это, конечно, трагедия.

— Через несколько лет во время раскопок обнаружили почтовые ящики. Они сохранились под пеплом. В них нашли письма. Среди писем оказались и анонимные. Можно ли творить зло, если не исключена возможность, что сегодня ночью тебя хватит удар или сгоришь в вулканической лаве? С тех пор как я узнал о своей участи, боюсь даже случайно раздавить муравья на асфальте. Сам прекрасно понимаю: это мания. Но ведь, если призадуматься, в таком же положении находятся все. Зло противоестественно для человека уже потому, что он смертен. Время у него ограничено, и его едва хватит на добро, без которого не может быть человека и жизни. Добро заложено в каждом. И это уже само по себе исключает сотворение зла.

— И все-таки зло есть. Мне очень симпатичны ваши мысли. Но я думаю, что в человеке заложено не только добро. Зависть, карьеризм, эгоизм... ну что там еще? Я беру только то, что лежит на поверхности...

— Тщеславие...

— Да, тщеславие тоже, и даже в первую очередь. Словом, все это в нас, как вы говорите, заложено. Просто одни могут задавить в себе эти качества, скрывать их, а другим не удается. Это уже зависит от воли, воспитания и даже натуры. Вы знаете, я, например, не совсем верю в такую добродетель, как скромность. Поймите меня правильно. Я о том, когда бесталанный человек прикрывает скромностью, как ширмой, свою серость. Мы можем назначить человека на ответственную должность только потому, что он честный. А на поверку выходит, что он только честный и больше ничего. И с годами его честность перерастает в зло.

— Но, согласитесь, сегодня только и слышишь: этот ворует, тот пригребаёт, этот берет взятки. Тут невольно будешь молиться на честного.

— Я, конечно, не верю, что все кругом воруют. Это хорошее оправдание для тех, кто нечист на руку. А на честного надо молиться, если он еще и деловой, талантливый человек. По мне лучше деловой, так сказать, нечестный, чем бездеятельный честный.

— Так можно оправдать воровство, — сказал Бадунц.

— Я специально подчеркиваю, что из-за бездарности честного руководителя создается обстановка, когда можно воровать. И если, как говорится, ближе к нашей теме, то на такого анонимок не пишут. Он устраивает всех, выгоден многим. Такой честный хвалится, что квартира у него не отремонтирована, что, несмотря на свое руководящее положение, он никогда не подбросит жену на базар на своей персональной машине. Но в душе понимает, что совесть его нечиста, так как работу завалил, миллионы государственных денег пустил на ветер. Ему легче смириться с нечистой совестью, чем с запятнанной репутацией. И такой человек надолго остается на своем посту, собирает вокруг себя таких же бездарных, как сам, только одной ступенью ниже. Это уже для того, чтобы звезда его не померкла. Не мешало бы посчитать, скажем, какой ущерб за пятилетку нанес государству этот самый «честный» и сколько украл вор. Повторяю, я не оправдываю воровство ни в коей мере. Просто мне претит кокетство бездарного человека, застрахованного от всего, даже от анонимок.

— Я вижу, анонимки ваше больное место, — сказал Бадунц, — уж не писали ли на вас? Вы такой всенародный бой объявили...

— Не писали. Говорят, уже и не напишут. Анонимщикам никто не поверит. Ведь все знают, что я борюсь против них. Третьего дня один начальник сказал: они правду пишут...

— Как правду?

— У них своя правда. Я проанализировала сотни, если не тысячи анонимок...

— Вам можно диссертацию...

— Нет уж, тема слишком зловонная. Так вот, в анонимках бывает примерно десять процентов правды и девяносто вымысла. В первом случае это — донос, а во втором — клевета...

— И все же десять процентов правды есть, пусть даже она именуется доносом, за который в старину давали первый кнут...

— Какой кнут? — спросила Аршалуйс.

— Есть русская поговорка: «Первый кнут — доносчику». Говорят, у Петра Первого в кабинете на стене висел кнут для

этой цели. Дело в том, что в Древней Руси первым делом били доносчика, дабы убедиться в искренности его доноса.

— Я всегда говорила, что в древности жили настоящие люди. Подсчитано, что деловые люди, будь то директор совхоза или заведующий кафедрой, в день решают около двадцати — двадцати пяти вопросов. Естественно, что не все вопросы решаются правильно. Пусть произошла всего лишь одна ошибка. В год это около трехсот неправильно решенных вопросов. Пусть десять процентов из них — серьезные просчеты. Это около тридцати больших ошибок.

— Но ведь о них обычно знают все.

— Зачастую так и бывает: доносчик пишет в письме о тех фактах, о которых в открытую говорилось на собраниях, писалось в газетах. А проверяющий отмечает, что такие-то факты соответствуют действительности. И выходит, что выявил недостатки какой-то мерзавец, побоявшийся поставить свою подпись. Безднаказанным остается и тот, кто подписывается под явно клеветническим письмом. Судьи, как правило, разводят руками.

— Почему?

— Потому что «некоторые факты соответствуют действительности». Так обычно пишут в заключении члены комиссии.

— Так и бороться, выходит, невозможно.

— Честно скажу, надоело мне все. Как никто другой я знаю, что бороться не только бесполезно, но и глупо.

— Вы ли это?! Вы всегда такая...

— Не надо. Все это эмоции. Надоело быть Дон Кихотом. Он мне мил. Но в жизни все иначе. Сложнее. Порой вынесешь на страницы газет проделки какого-то негодяя, а потом призадуматься: ведь это капля в море.

— Что вы имеете в виду?

— Я однажды писала, что правоохранительные органы выявили и наказали прорву дельцов и в течение года вернули государству около трех миллионов награбленных денег. Казалось, все хорошо. Справедливость восторжествовала. Зло наказано.

— А разве не так?

— Так-то оно так. Но стоило ли тратить силы и средства для того, чтобы вернуть государству три миллиона в то время, как тебе известно, что миллиард с гаком за это же время пустили на ветер. Сгнили продукты сельского хозяйства, выпустили брак, не освоили государственные средства, предусмотренные

планом... Да мало ли что! Словом, миллиард. А тут всего лишь три миллиона.

— И что вы предлагаете?

— Я?.. Я предлагаю закончить наш разговор.

— А вы, простите меня, не хотите ничего спросить о доценте?..

— Нет. Не хочу.

— Ведь все началось с него. Это он...

— Видите ли, я писать об этом не буду.

— Столько тратите времени и знаете, что не будете писать?

— Если бы журналист реализовывал все то, над чем работает, он издавал бы многотомники, а не выходил в квартал или в месяц раз с пятью сотнями строк.

— А я вот уже строк не считаю. Я считаю дни. Берусь за что-нибудь и терзаюсь: стоит ли?..

— Думаю, стоит.

\* \* \*

Весь вечер Аршалуйс названивала Самвелу. Длинные гудки в телефонной трубке не только раздражали, но и вызывали чувство тревоги. Она хорошо знала, что Самвел сегодня не дежурил. В кино пойти не мог — сам говорил не раз, что не помнит, когда в последний раз был в кинотеатре. В ней говорила всеильная ревность. Та самая, которая мучила ее чуть ли не с самого детства.

Именно в это время, когда Аршалуйс названивала по телефону, Самвел находился в дороге. Он ехал в Мецшен уже в третий раз за год. Там, в горах Карабаха, затерялось знаменитое на всю округу село, которое некогда воистину соответствовало своему названию: Мецшен — Большое село. Сейчас осталось около сотни полупустых домов, которые не сразу разглядишь за густыми деревьями. Во второй раз он ездил в Мецшен зимой. Проехав древнейшие армянские села Мартакерт и Мохратах, он увидел с вершины пологой горы село, которое показалось ему просто жалким. Добрались к утру. День обещал быть ясным, морозным. И Самвел не мог не обратить внимание, что село, если сравнить его с живым существом, просто умирает. Редко над какой крышей поднимался в небо дым.

Ереванскому доктору предстояло осмотреть больную женщину. Все та же болезнь, которую некоторые коллеги уже называют болезнью Аматауни. Еще год назад к Аршалуйс обратились ее близкие знакомые и попросили, чтобы она уговорила

Самвела съездить в Мещен. Множество недугов медленно, но верно подтачивали здоровье женщины. Да и возраста она была уже почтенного. Старшему сыну давно исполнилось шестьдесят. Все трое сыновей жили в Ереване. А теперь они везли в родное село известного врача. Везли в третий раз, прекрасно понимая, что вряд ли что изменится. Но все же. Душа будет спокойна.

Первый раз Самвел побывал в Мещене в начале лета. И все два дня думал об Аршалуйс, которая перед отъездом твердила: «Ты едешь в знаменитое село. Оттуда родом один из самых выдающихся армянских публицистов Давид Ананун». Лишь потом Самвел прочитал статьи Анануна. Прочитал предисловие, написанное мещенцем к горьковской антологии армянской литературы.

Осмотрев больную, Самвел попросил, чтобы ему показали дом, в котором родился Давид Ананун. Ему хотелось после рассказать о своих впечатлениях Аршалуйс. В доме никто не жил. Зброшенный дворик с высохшими деревьями. Странно, думал Самвел мыслями и даже фразами Аршалуйс, стояло село несколько тысяч лет и вдруг на глазах у одного поколения почти вымерло. Об этом много писала Аршалуйс Гукасян. Все вроде разделяли ее боль, соглашались. А между тем с каждым годом все больше и больше гибнет некогда цветущих деревень. Уж если чахнет такое село, как Мещен, то что же говорить о других, расположенных на скалах! С любой точки Мещена видно сразу несколько холмов, покрытых густым лесом. Гигантские орешины выстроились вдоль сельской дороги. Давно уже оголились корни некоторых деревьев. По весне, наверно, кажется, что дерево умерло. Но вот наступал такой день, когда оно прорывалось, покрывалось почками. А еще через несколько дней — густой зеленой листвой. И так из года в год. Никто не знал и теперь уже никогда не узнает, кто посадил эти орешины. О них вспоминали только осенью, когда созрел орех. Да и вспоминали самым неблагодарным образом: кто палкой, кто камнем. И чем больше били бедное дерево, чем больше ему доставалось от шумных мальчишек, тем больше плодоносило оно в следующий раз. Об этом тоже писала как-то Аршалуйс.

В Мещене Самвел впервые, может, по-настоящему оценил талант любимой женщины и подумал о том, сколь разнятся их профессии: врач и публицист. Он делал новые назначения старой женщине, зная, когда наступит конец, и переживал от тщетности своих усилий. А Аршалуйс заглядывала в будущее

села, видела, что, погибая, оно убивает всех тех, кто должен был в нем родиться. Сыновья старой женщины построили новый родительский дом. Честь и хвала им. Но смерть положит начало новой трагедии: начнет умирать дом. Самвел вспомнил, как Аршалуйс писала о нынешней моде строить чуть ли не египетские пирамиды для престарелых родителей. Дома, которые больше напоминают мавзолеи. Самвелу хотелось наперекор знаменитой формуле Аматоуни сделать все, чтобы старуха жила как можно дольше. Он очень хотел, чтобы кто-нибудь из трех сыновей решил все-таки переехать в отцовский дом. Как бы ни был велик и красив Ереван, о котором Аршалуйс написала целую публицистическую книгу, он всего лишь город. Город, а не страна. Столица — это море, которое питается реками. И если высохнут реки, то высохнет и море.

...В машине Самвел больше молчал, и его настроение передалось пассажирам. Дальняя дорога наводит на размышления. Самвел вспомнил, с каким удовольствием Аршалуйс слушала его рассказы о поездке в Мецшен! Он отгонял прочь мысли о последнем разговоре с ней. Не могла она заподозрить его в таком грязном деле, как анонимка. Аршалуйс слишком хорошо знает его. Знает с детства. Проезжая мимо Мартакерта, братья предложили остановиться, заглянуть к знакомому на чай, но Самвел отказался. Ему хотелось как можно быстрее добраться до Мецшена, где он уже ничем не мог помочь больной женщине.

Больная сидела в кресле-каталке. Высохшая, как сушеная тутовая ягода — чамич. Говорила она медленно, едва выговаривая слова беззубым ртом. Но когда она рассказывала о чем-нибудь, ее хотелось слушать. И никто уже никаких дефектов не замечал. Самвел все спрашивал о Давиде Анануне, который приходился дядей пациентке. Он уже многое знал об Анануне, но то, что ему рассказала старуха, было новостью, которой, по его мнению, могла бы заинтересоваться Аршалуйс. Чем больше рассказывала больная, тем больше Самвелу казалось, что его Аршалуйс похожа на Давида. Он не мог уловить: нравится ли ему это, или нет. Как-то странно все-таки сравнивать женщину с мужчиной. Он заметил большое сходство духа, даже стиля этих публицистов, которых разделяло время.

— Приехал как-то Давид в село, — рассказывала старуха, — в тридцать шестом году. Собрались вокруг него все родственники и соседи. Говорил он, что без крепкого села народ не выдержит ни войны, ни другого какого бедствия. Кто-то из наших мужчин, смеясь, упрекнул Давида, мол, а чего это он сам оста-

вил Мецшен? Он ничуть не обиделся. Объяснил, что есть профессии, с которыми можно жить только в городе. И даже — в стольном, как он говорил, городе. В тот день до поздней ночи сидели гости в нашем доме. Было холодно. Конец года, тридцать шестого года. Давида все расспрашивали о разном, говорили ему о том, что многих мецшенцев след простыл. Давид тогда перевел разговор на другое. Всю сознательную жизнь он носил псевдоним Ананун, к которому привык, как привыкли его предки к своим родовым фамилиям: Ерицян и Даниелян. Давид взял этот псевдоним для борьбы. Назвал себя Анануном, то есть Безымянным. А тут пришла такая пора, когда слово «ананун» стало нарицательным. Клеветники писали письма и подписи не ставили. Таких авторов стали называть «Ананун», «Безымянными». Давид говорил, а я видела, как он переживает. Уж слишком печальны были его глаза. Он-то хорошо знал, что происходит. И когда через несколько месяцев его забрали по навету анонимщика, то меньше всего удивился, думаю, он сам. Зато как удивились мы, когда весь его дом обшарили, забрали все книги, тетради, даже утварь.

— Какова его дальнейшая судьба? — спросил Самвел.

— Судьба, говоришь? Чтоб я взяла его боль себе и чтобы прокляты были все те, кто оклеветал его! Я не знаю, в каких краях он находился с тридцать седьмого года. Ни писем, ни вестей. На день появился в сорок седьмом. Я его не узнала. Всегда был в костюме, в шляпе, при галстуке. А тут прямо нищий. Летом было дело. Потрясли, помню, тутовое дерево. Поел он немного ягод да не захотел больше. А я с детства знала, если человек быстро наелся тутовых ягод, значит, он чем-то болен. Перед отъездом приготовила ему еды, а он отказался. Время было голодное. Потом сказал, что самое унижительное для человека — это голод, который делает его животным. Он улыбнулся и добавил, что, слава Богу, есть ему не хочется, аппетита нет. И это его избавляет от унижений. С тех пор никто из нас никаких вестей о нем не имел. Осталось только несколько фотографий и то, что написано им. Всё, говорят, можно уничтожить, но не книги...

\* \* \*

Рузанна Аршаковна не помнила такого случая, чтобы профессор сам приглашал ее домой. В последнее время она приходила чуть ли не ежедневно, но чтобы ее позвали в дом, — такого не помнила. И вдруг профессор Аматауни сам позвонил и по-

просил, чтобы Рузанна, если может, зашла к нему. Собственно, если бы он не позвал, все равно Рузанна Аршаковна заглянула бы к профессору после работы. Она спешила в знакомый дом, мучаясь в догадках. Голос был обычным, никакой тревоги. Даже ироничный, как всегда. Но женским чутьем Рузанна Аршаковна уловила, что это был не простой звонок. Речь, догадывалась, пойдет не о болезни, не о клинике, не о работе. Вот уже сколько лет она ждала какого-то чуда. Столько лет ходила к человеку, которого очень любила, и все это время ни разу не поговорили они по душам. Она знала, что союз между ними невозможен. И ждала только одного, чтобы любовь ее была признана, замечена, принята.

В доме профессора Рузанна Аршаковна по привычке осмотрела пытливым глазом кухню, похвалив про себя маленькую хозяйку. Завидя Амадуни, гостя громко сказала:

— По вашему приказанию прибыла!

— Если можно было бы продолжить в таком же духе. Приказал, и дело с концом.

— А чего хитрить? Мужчины так и делают.

Как ни старалась Рузанна Аршаковна вести разговор на шутилой волне, она не могла скрыть беспокойства. Уж слишком измученным выглядел профессор. Все тот же землистый цвет лица. Она догадалась, что не так давно профессор корчился от мучительной боли. А как только она стихла, сразу позволил. Боль всегда стихала постепенно, не оставляя следа. Если, конечно, не считать слабость, одышку, тошноту. Рузанна слишком хорошо понимала, каких трудов стоило профессору улыбаться, даже шутить.

— А вы прикажите, Сурен Самсонович.

— У меня, собственно, другого выхода нет. Пойми меня правильно... Я хорошо знаю, что ты мою Кнарик не бросишь. Честно говоря, я не очень уж переживаю.

— Вы решили мне прочитать завещание?

— Я решил попросить...

— Хорошо.

— Но ведь ты не знаешь, о чем пойдет речь.

— Знаю. Хотя по правде, знать не хочу.

— Я хочу, чтобы дочь...

— Сурен Самсонович! Дорогой мой профессор! Успокойтесь. Я могу сделать для вас все, что угодно. Но вы предлагаете невозможное.

— Я знаю день своей смерти.



— В данном случае я не верю ни вам, ни вашей формуле. У вас все течет атипично. Так что и расчеты соответственно не того...

— Ты сама знаешь, что все не так. Я о другом думаю. Когда ты захочешь помочь дочери, начнутся всякие сложности, имеет, мол, виды на площадь.

— У меня есть своя площадь. И вообще...

— И вообще, я действительно приказываю... Так будет вернее. Будет спокойнее и даже... законнее.

— Опоздали мы с вами, дорогой профессор. Я никак не могу согласиться. Впервые отказываюсь выполнить ваше приказание. Боже мой, словно уже случилась беда! Это же так несправедливо! Я не хочу говорить на эту тему. Скажу только, что поступаете вы более чем наивно. Если мы сейчас оформим наши отношения, разве люди не будут злословить? Я думаю — наоборот. Тогда и начнется. Никто не поверит, что... Хватит. Хватит с меня недавнего разговора с Аршалуйс Гукасян...

— Не понял.

— А чего тут понимать? Люди не слепые. Они давно все видят и все знают. И неудивительно, что об этом узнала журналистка, которая почитает вас. Спросила просто так, по-бабьи, без всякого умысла, мол, почему бы нам не зарегистрировать брак.

— Вот видишь, умные люди задают правильные вопросы. Хотя мне как-то неловко, что обо мне говорят, судачат.

— Это называется жизнью. Ничему не надо удивляться. И вообще, жизнь продолжается.

— Верно. Жизнь продолжается до тридцать первого декабря...

— Это нечестно.

— Согласен. Нечестно, понимаю, на Новый год...

— Прекратите! — закричала Рузанна Аршаковна. — Это жестоко!

— Рузанна-джан! Зачем же так. Неужели мне даже с врачом нельзя поделиться? Сегодня только пятнадцатое. Впереди целая вечность, шестнадцать дней. Я успею закончить свою работу, которая, уверен, поможет и тебе, и всем нашим коллегам. Зачем нам играть в прятки, когда я знаю, что жизнь моя не перевалит за тридцать первое декабря. Раньше — возможно, но позже — нет. Так чего же мне молчать, если точно знаешь, что это так? Ну хотя бы подумать о том, чтобы оформить опекунство. Буквально на следующий день после похорон встанет вопрос о моей дочери. Она же еще маленькая. По закону, наверно,

ей нужен опекун. А у меня никого нет. Чего уж тут гадать? Другого выхода не вижу... Медицина стремится избавить человека перед смертью от физических страданий. Но только ли физические страдания предваряют смерть? Конечно, легче всего одним уколом лишить человека сознания...

— Вы повторяетесь, профессор.

— Со времен Гиппократы врачи повторяются. Ничего нового после «прежде всего не вредить!».

— Я многих людей видела на своем веку. Среди них были плохие. Среди плохих — очень плохие. Но такого плохого, как вы, никогда не доводилось встречать.

— Ты хочешь сказать, что из всех плохих людей я самый лучший плохой?

— Нет, самый плохой плохой.

— Уже хорошо. Что-то чеховское...

— Чего уж хорошего?

— То, что «самый». Я люблю, когда самый сильный, самый умный, самый-самый.

— Да, мой дорогой. Вы самый-самый. И я счастлива, что вы такой.

— Я не могу доказать, что я не плохой человек, — улыбнулся Аматауни.

— Это невозможно. Диагноз плохого человека уточнен мной.

— Я недавно думал о том, что бы я хотел видеть после моей смерти.

— Опять за свое.

— Ну, могу я пошутить...

— Я люблю вас, профессор.

— Сумасшедшая. Я хочу, чтобы после меня никогда не было войны.

— Громко.

— Ничего подобного. Я очень боюсь войны.

— После смерти?

— Особенно после смерти. Ведь я стану землей. А бомбы падают на землю, по которой будет ходить моя Кнарик. Будешь ходить ты.

— Вы плохой человек, профессор.

— Именно поэтому обещаю больше не звонить. Обойдусь без твоего согласия.

— Не обойдетесь.

— Почему это?

— Потому что я хорошая.  
— Что-нибудь придумаю.  
— Видите ли, Сурен Самсонович, если уж серьезно, то меня это не волнует.

— Почему же?

— При любой ситуации я буду себя вести как человек, как подскажут разум и сердце... И хватит вам мудрить. Жить надо. Кажется, это ваши слова. Даже оставшиеся дни надо жить так, как жили всегда, плохой вы человек.

— Я понимаю. Все, о чем я сейчас говорил, от лукавого. Я хорохорюсь. Но все это потому, что боюсь за судьбу моей Кнарик. Вот и хочу, чтобы ты могла преодолеть бюрократические барьеры без труда. Извини меня за не свойственную мне расчетливость...

\* \* \*

Аршалуйс Гукасян повернула с улицы Налбандяна на Исаакяна, прижимаясь к стене жилого дома. Вокруг все было перекопано. Уличное движение здесь давно остановили. Прохожие молча перепрыгивали через ямы, взбирались на гигантские трубы, рискуя сломать ноги. Зато были уверены, что сокращают пятток метров пути, несколько драгоценных секунд, которых так не хватает ереванцу. Все куда-то спешат. Ничего вроде удивительного. Время такое. И все же Аршалуйс всегда удивлялась этой спешке. Даже дети, которым по природе положено быть беспечными, куда-то спешат. Торопятся кто в художники, кто в музыканты, кто в балерины. И спешат, конечно, не только они. Небритые битюги, которые собираются в сквере имени Шаумяна у фонтанов, могут с утра до вечера, сбившись в круг, болтать о том о сем, но приглядишься — спешат. Ищут клиентов. Кому продать кисти для малярных работ, а кому и самого маляра подыскать. И ничего, что сегодня не нашли подходящего клиента. Завтра, глядишь, повезет. Главное, упорно ждать. Ждать, спеша.

Спешила и сама Аршалуйс. И, как все, взобралась на гигантскую трубу. Пройдя по ней метров восемь, она ловко спрыгнула на сложенные друг на друга бетонные плиты. А там всего лишь две-три преграды — и можно ступить ногами на тротуар, грязный от проходящих рядом строительных работ. Выиграны дорогие секунды. Очень уж не хотелось опаздывать к Воскерчяну. К близким людям можно еще опоздать. Маме или сестре можно улыбнуться и таким образом извиниться. Воскерчяну нельзя улыбаться...

Как-то на встрече со студентами Гукасян спросили, как она относится к профессии дипломата? Вопрос застал ее врасплох. И вообще странный вопрос! Как можно относиться к профессии хлебопека или каменотеса? Нормально. Как к профессии, без которой неммыслима сегодня жизнь. Но в вопросе был, конечно, подвох. Дипломат — не хлебопек и не каменотес. Говорят, дипломат должен улыбаться даже тогда, когда, что называется, плакать хочется. Тут нужен не просто особый талант, но и артистизм. Аршалуйс догадалась, о чем именно спросил студент. Да, она бы не смогла работать дипломатом. Хотя бы потому, что никогда не улыбнется человеку, которого не уважает. Это же так противоестественно — дарить улыбку человеку, который тебе не по душе. Улыбку нельзя продать. Невозможно. Ведь скалить зубы — это еще не значит улыбнуться. Улыбка идет прежде всего от сердца. А сердце не терпит фальши.

...В приемную Воскерчяна она успела к назначенному часу. Секретарша доложила начальнику управления о визите, о котором заранее была осведомлена. Тотчас из кабинета вышли два сотрудника, неся в руках увесистые папки. Дверь осталась открытой. Секретарша предложила Аршалуйс пройти.

Завидя посетительницу, хозяин кабинета встал из-за стола и пошел навстречу.

— А вы все хорошеете, — улыбаясь, сказал он.

— Спасибо.

— Я серьезно. Когда вы выступаете по телевидению, в нашей семье все замирают.

Воскерчян предложил гостье сесть в мягкое кресло, а сам вернулся на свое место. Он ждал журналистку. На столе порядок, и два сотрудника с папками уж больно быстро выскочили из кабинета. Вскоре и секретарша без всякого предупреждения открыла дверь, неся на крохотном подносе две чашки кофе.

— Я вынуждена вновь побеспокоить вас, — сказала Аршалуйс, как только секретарша подчеркнуто тихо закрыла за собой дверь.

— Я рад вас видеть всегда.

— Мы тогда не закончили наш разговор. А договорить и договориться даже, мне кажется, надо.

— Вполне согласен. Деловые люди всегда должны находить общий язык.

— Я о другом.

— И я о другом. Я вам уже говорил в прошлый раз. Вся моя семья на самом деле без ума от вас, вернее, от ваших статей и рассказов. И могу честно признаться, о вас всегда судачат в свете.

— Прямо как в старинных романах, — улыбнулась Аршалуйс, — звучит-то как архаично «в свете». Интересно знать, о чем там говорят?

— В целом всегда с восторгом, как о смелой женщине, которая в молодости, простите, вы и сейчас еще...

— Не надо, я знаю, сколько мне лет... Так о женщине, которая...

— О женщине, которая в молодости грешила стихами, а потом стала талантливым публицистом, гласом народа...

— Слишком громко сказано. Я люблю работу и, не скрывая, знаю свое место в публицистике.

— И все же я вынужден вновь вернуться к нашему старому разговору. Нужно ли вам марать руки о всякую мразь? Вы, если хотите знать, должны беречь свое имя. Беречь авторитет, чтобы делать вещи эпохальные. Нам всем нужна настоящая публицистика. А то читать невозможно высосанное из пальца. Не веришь. Ваша публицистика... Она бьет в цель, сражает...

— Анонимщиков без пощады, — перебила Аршалуйс. — Зачем вы направили целую армаду в Степанаван?

— В какой Степанаван? — посерьезнел Воскерчян.

— В Степанаван, что по дороге в Кировакан. Зачем позорить подозрением уважаемого человека?

— Ах, вон вы о чем. А что? Ничего такого мы не сделали. Просто люди проверили, убедились, что никакой такой виллы нет, что все это...

— Что все это липа, вы хотите сказать. Так ведь дело не в этом. На глазах у всего честного народа какая-то комиссия выясняет, чей это дом и на чьи деньги построен. Выяснилось, что он построен родителями уважаемого человека в конце двадцатых годов, когда сам он еще под стол пешком ходил.

— Да, выяснилось. Мы поговорили с этим вашим уважаемым человеком, и дело с концом. Он ушел от нас очень даже довольный. Неужели он жаловался?

— Он не жаловался. Он оскорблен. Люди теперь разное толкуют. Считают, что понапрасну комиссия не приедет, здесь что-то не то. Ну, а грязь к человеку, который на виду, липнет накрепко. К какому-нибудь алкоголику, валяющемуся под забором, грязь не пристанет, как ни странно.

— Люди, в своей сущности, похожи друг на друга. Они только внешне отличаются, — сказал Воскерчян, поднося чашку к губам.

— Я с вами не согласна.

— Проведите эксперимент. Посылайте, на ваш выбор, самому хорошему человеку ежемесячно по пятьдесят рублей.

— Не понимаю...

— Посылайте ежемесячно. Человек приходит к вам, удивляется, возражает, а вы стоите на своем, посылаете. Год шлете. Другой. И вдруг в один прекрасный день прекращаете посылать эти деньги.

— И что?

— А ничего. Он вас поедом съест. Привыкший к даровым пятидесяти рублям взбесится, если лишите его привычного дохода. И вы станете его главным врагом. Он уже никому не скажет, что вы два года регулярно посылали ему деньги.хлопот вы с ним не оберетесь.

— А вам не приходит в голову, что человек с самого начала наотрез откажется от подозрительных денег? Ваше предложение оскорбит его человеческое достоинство. У вас могут быть симпатии и антипатии к тому или иному человеку конкретно, но делать, даже мысленно, обобщающие эксперименты — это, мягко выражаясь, неэтично.

— Я не признаю никаких симпатий и антипатий... Для меня существуют только деловые отношения.

— Закон — один для всех. Именно поэтому и надо учитывать личность человека, — перебила собеседника Аршалуйс.

— Мы с вами взрослые люди. Я говорю: закон один для всех, а сам знаю немало примеров, когда его нарушают сверху. — Воскерчян показал пальцем на потолок. — Уважаемые товарищи исходя из симпатий устраивают людей, по личным антипатиям снимают. Чего там говорить! Вы вот пишете... Скажите, обо всем ли вы можете писать?

— Я не помню случая, чтобы не смогла напечатать материал, если он, конечно, был добротнo сделан и по проблемам, волнующим всех. Другое дело козни Главлита. А как ведут себя там, — Аршалуйс, подражая собеседнику, подняла палец, — это песенка старая. Я знала людей, которые обвиняли правительство в том, что спички у них отсырели после дождя. Вы говорите о примерах...

— Я все-таки сам на руководящей работе, и мне виднее. Я людей знаю, кадры...

- А там, наверху, не знают?
- С вами опасно говорить, вы — журналист. Я в таких вопросах человек прямой... И честно скажу: плохо знают.
- Человек должен быть честным и прямым не только в тех или иных вопросах,
- Не надо ловить на слове. Приходится соглашаться: многое у нас делается не так.
- Я с вами согласна. Много у нас делается не так, как хотелось бы. Но, знаете, как не раз уже говорилось умными людьми: «Не много надо иметь ума, чтобы все охаивать».
- Выбирайте выражения...
- Не надо обижаться. Мне всегда кажется, что будь я на месте редактора, то многое бы изменила. Печатала бы это, а вон то — никогда. Вот и вам кажется, что вы все вопросы решили бы лучше, чем их сейчас решают. Вы бы поступали проще: назначали бы на посты людей, которых знаете лучше, которые вам преданы.
- Что-то я никак не пойму, никак не могу уловить линию нашей беседы. То мы с вами дружелюбны... То...
- Я с вами не дружелюбна...
- Однако вы пока у меня в кабинете.
- Начальники приходят и уходят, а кабинеты остаются. Я журналист, не юрист.
- Вот и ведите себя как журналист, а не прокурор.
- Постараюсь. У меня на руках десятки ваших резолюций. Я их помню на память. Одна из ваших всесильных резолюций теперь эхом разнеслась по всему городу. И сильнее всего прозвучала в институте, где зачитали письмо об ученом, который является гордостью нации.
- Я тут ни при чем. Если там, — Воскерчян показал пальцем на пол, — сидят тупицы, то это уже не моя вина. Я не велел, чтобы читали анонимку вслух. Я этого не мог сделать хотя бы потому, что хорошо знаю профессора. Вместе, давно это было, работали в районе. Он главным врачом, а я...
- А вы, как всегда, руководителем... И там уже невзлюбили его.
- Ничего подобного. Наши жены... Жена профессора тогда еще была жива. Так вот, даже наши жены дружили. А стычки между нами, мужиками, были деловыми... Так что я не виноват, что там, внизу, эти олухи...
- Когда вы говорили «там наверху», то почему-то выбирали выражения... Это я просто так. Спасибо за беседу.

- Вы не выпьете кофе?
- Я вам в прошлый раз говорила, что пью только чай, и то по утрам.
- Слышал бы кто наш разговор, не поверил.
- Такой разговор при свидетелях не ведут.
- Я о другом. Слушаю вас, как мальчишка. А меня знают совсем иным. И многочисленные друзья, и родные, которые изучили мой характер.
- Даже сейчас вы находитесь во власти амбиции.
- Да, если хотите. И удивляюсь, почему не выставил вас до сих пор из кабинета!..
- Наверно, потому, что вы джентльмен.
- Наверно, — сказал Воскерчян. — Хотите начистоту?
- Пожалуй.
- Не получился у нас с вами разговор по душам.
- А я к вам пришла не за этим. Я пришла с просьбой... Подумайте о профессоре.
- Я могу задать один вопрос, надеясь на вашу искренность?
- Да.
- Как вы относитесь к доценту? К Самвелу?..
- Я люблю его...

\* \* \*

Давно стало привычкой для Аматауни ложиться спать после трех часов ночи. В последние дни он старался вообще не спать, решил по-своему удлинить, растянуть время за счет ночи. И все же к четвертому часу утра он чувствовал, что рука не держит перо, а тело наливается свинцом. И всякий раз, собираясь ложиться в постель, он заходил к дочери, поправлял одеяло, которое оказывалось то на полу, то сбивалось у ног. Обычно дочь спала мертвым сном, и он смело вытаскивал из-под нее одеяло, а иногда пододвигал ее к центру кровати, уверенный, что девочка не проснется. Каково же было удивление отца, когда он застал дочь бодрствующей.

- А я не сплю, — сказала она, как только отец открыл дверь.
- Сумасшедшая. Разве можно так? Четвертый час.
- Я спала. А потом проснулась.
- Почему?
- Сон видела.
- Какой?



- Плохой.
  - Расскажи.
  - Не буду.
  - А я знаю, что ты видела. Хочешь, скажу?
  - Нет! — закричала дочь.
  - Тихо, Кнарлик-джан. Тихо, чтоб я взял себе твою боль!
- Успокойся, спи.
- Посиди немного рядом.
  - Хорошо, девочка моя. Посажу немного, а ты постарайся уснуть.
  - Я уже не хочу спать.
  - Напрасно. Чтобы твой плохой сон больше не повторялся, ты подумай о том, чего тебе очень хочется.
  - А что тебе очень хочется?
  - Мне очень хочется, чтобы пошел, наконец, снег. Снег — это хорошо. Особенно перед Новым годом. А снег так нужен Еревану. Он всем нужен. И вообще, думай, Кнарлик-джан, о чем-нибудь хорошим.
  - А о чем ты думаешь, когда тебе бывает плохо?
  - Чтобы всем детям на земле стало весело. И еще: я иногда хочу стать всемогущим. Тогда бы я сделал так, чтобы повсюду был лес.
  - А почему ты сейчас подумал о лесе? Ночь. Зима. И вдруг — о лесе.
  - Не знаю. С тобой, наверно, тоже так бывает. Я подумал, как летом хорошо. Идешь по густому лесу, а тебя все время сопровождает жужжалка, такая большая лесная муха. Она не собирается тебя кусать, а носится и носится вокруг, как спутник вокруг планеты. заметишь под кустом на поляне крохотную красную земляничку, нагнешься, а там целая прорва. Рвешь одну за другой, а муха все жужжит и жужжит. В самом лесу травы нет, только крохотные зеленые деревья растут рядом с трухлявыми пнями, прогнившей листвой. А на поляне — зелено, светло и много цветов. То встретишь на поляне одинокую корову, то кобылицу с жеребенком. Носится возле матери на тонких ножках, бьет себя крохотным, как кисточка для бритвы, хвостом, отгоняет ос. Потом подлезет под маму, а та расставит ноги, чтобы жеребенку удобнее было пить молоко. Смотришь долго-долго, и хочется, чтобы так было всегда. И муха чтобы около твоего носа, и жеребенок тыкал мордой в живот матери. И чтобы ветра не было...
  - А почему чтобы ветра не было?

— Я не люблю, когда летом, особенно в пору созревания тутовых ягод, дует ветер. Это так несправедливо. Зимой ждешь ветра, чтобы он отогнал нависший над городом смог. А его все нет и нет. И злишься, когда в июне и июле чуть ли не каждый вечер появляется невесть откуда ветер и желтые, как янтарные бусинки, тутовые ягоды падают на пыльную землю.

— А я вчера читала твою тетрадь.

— Какую?

— Ту, зеленую. Ну, помнишь, ты как-то говорил, чтобы я ее не трогала.

— Зачем же ты взяла, если я запретил?

— Это ты говорил давно, я была еще маленькой. И потом ты всегда только и говоришь: это не трогай, то не трогай...

— Не может быть! Разве я такой вредный? По-моему, я тебе всегда все разрешал... Ну, а что ты там вычитала?

— Всё.

— Как всё? Там много всего написано. Вернее, списано отсюда, отсюда. Сможешь сказать, какая самая последняя запись?

— Конечно. «Дороги доро́ги, бездорожье — дороже».

— И ты запомнила?

— Почему ты удивляешься? Я уже говорила, что ничуть не стараюсь. Просто у меня получается.

— Ну, а в чем смысл этой фразы? Тебе она понятна?

— Нет. Ты знаешь, я даже не задумывалась.

— Почему?

— Не знаю. Неинтересно. Подумаешь, «дороги дороги, а бездорожье — дороже».

— А ты знаешь, это очень и очень правильные слова.

— А я все равно их не понимаю.

— И хорошо, что не понимаешь. Я даже рад этому. Главное, что память у тебя отличная. Какую бы профессию ни выбрала — легко будет. Кстати, я так и не знаю, кем ты хочешь стать?

— Врачом.

— Как папа?

— Как Рузанна Аршаковна...

\* \* \*

Среди ночи Аршалуйс проснулась от протяжного гудка автомобиля. Захотелось распахнуть окно и бросить в машину чем-нибудь. Даже подумала, каким именно предметом лучше всего

заехать по хулигану. Можно бутылкой от кефира, а то и валяющейся где-то под диваном небольшой гантелькой, купленной давно для зарядки, но так ни разу и не использованной.

Так до утра Аршалуйс и не могла заснуть. К рассвету злость к автохулигану прошла. Она усмехнулась наивности придуманного сгоряча наказания.

Сколько раз, думала про себя Аршалуйс, нежась в постели, ее упрекали в том, что она пишет без разбору и чуть ли не обо всем. И невдомек критикам, что пишет она только об одном. О человеке!.. Сейчас так много разговоров об атомной станции в самом сердце Араратской долины. Но вряд ли кто задумывается, что атомная станция — это еще не самое страшное. В конце концов, беда от нее может прийти через десять лет, через год, через месяц, через неделю. Завтра, может быть. Но есть беда, которая уже с нами. Вчера еще была с нами, десять лет назад. Многочисленные цифры, графики, кривые рассказывают о том, какое количество в том или ином районе города больных, сколько мертворожденных, сколько бесплодных женщин, сколько страдающих раком! И после всего этого ее, Аршалуйс, обвиняют в том, что она пишет не рассказы, а статьи, не повести, а очерки, не беллетристику, а публицистику. Она не виновата. И все это происходит помимо ее воли, подобно тому, как еще в детстве она помимо своей воли полюбила Самвела. Теперь она уверена: не он писал анонимку, но он знал, что кто-то пишет. А может, даже подтолкнул. Аршалуйс хотела простить его во имя их детства. Но не простила бы себя за это. Ведь анонимка это тоже «загрязнение атмосферы». Какая разница, от чего умирает человек: от клочка бумаги, от хлоропреновых отходов или от ятагана!..

Никто не вправе упрекать Аршалуйс, что она не стала матерью. Один человек с ухмылкой сказал ей: «Куда больше пользы вы принесли бы своему народу, если бы рожали детей». Она не обиделась на него. Но в ту ночь не смогла уснуть. А с тем человеком даже не вступила в полемику. Аршалуйс училась не только у жизни, но и у честных людей. Они говорили, что в споре слова должны быть мягкими, а аргументы — твердыми. И хорошие доводы должны уступать место лучшим. Каковы люди, такова дискуссия. Это они говорили, что не надо осмеивать общественное мнение, этим можно оскорбить людей, но не убедить их. Общественное мнение не терпит резких изменений. Общество живет признанными истинами. Аршалуйс жила в обществе. Она — часть общества. Ее поэтому могли запросто

упрекнуть в том, что она не стала матерью. А она хотела считать себя матерью тех детей, которых ей удастся спасти от гибели. Взобраться бы на вершину Арарата и закричать, что взрывоопасное и загрязняющее окружающую среду производство моновинилацетилена и хлоропрена продолжает функционировать. От этого умирают дети. И Аршалуйс не могла об этом молчать. Молчанием можно убить так же, как химическими отходами. Молчать — значит убить в себе совесть, лишить себя высшего суда. Поэт сказал: презирать суд людей нетрудно, презирать суд собственный — невозможно. Аршалуйс твердо усвоила, осознала, что совесть — это внутренняя честь. И ничего другого не хотела, как только защитить честь. А ее честь — это когда в ее городе не будет анонимщиков, каучукового завода, от отходов которого умирают люди...

Поздно вечером зазвонил телефон. Аршалуйс вздрогнула — слишком задумалась. Еще днем по следам одного письма она ездила в женскую колонию и после долго не могла прийти в себя. Пять лет назад по какому-то поводу она посетила колонию и хорошо помнила, что койки для заключенных были однарусными. А теперь — двухъярусные. К чему мы идем, куда идем?! Казалось, с годами этих коек должно быть все меньше и меньше. Это же наши вчерашние девочки, девушки. Они бегали беззаботными стаями в пионерских галстуках, с комсомольскими значками. Читали стихи. Мечтали. Красиво мечтали... А теперь вот — колония. Были однарусные койки. Теперь вот — двухъярусные. Мысли Аршалуйс повторялись... Почему обязательно изолировать женщину, если она совершила преступление? Продавщица в обувном магазине отпустила товар по завышенной цене. Вместо того чтобы отправлять ее в колонию на пять лет, не лучше ли открыть дверь магазина и, извините меня, вышвырнуть ее на улицу и близко не подпускать к торговле. А если уж сажать, то надо не ее. И даже не директора магазина. Недовесила колбасы вчерашняя пионерка, только окончившая торговый техникум. И пошла-пошла по казенным домам. Да виновата ли она? А судьи кто? Вопрос этот задавали во все времена... Молодая красивая девушка подошла к Аршалуйс в колонии и сказала, что ее жених женился на другой. Она не в обиде на него — ведь ей сидеть еще три года. Аршалуйс стало плохо. Не случись трагедии, бегал бы по дому ребенок. Сколько у нас таких нерожденных детей! Бедные матери нерожденных детей! Бедные дети несостоявшихся матерей!

Аршалуйс взяла трубку трезвонившего телефона с какой-то неохотой.

— Я слушаю, — тихо сказала она.

— Голос почему недовольный? — Это был Самвел. — Ну, здравствуй! Я выполнил твое поручение.

— Выполнил свой врачебный долг.

— А что так сухо?

— Голова болит.

— А я так торопился в Ереван. К тебе.

— Спасибо.

— Я хочу сейчас приехать.

— У меня голова болит.

— Ты раньше другие причины приводила.

— Раньше я была моложе.

— Я тебе привез фотографию твоего кумира.

— А кто мой кумир?

— А ты догадайся. Я ведь из Мещена приехал.

— Давид Ананун? Спасибо.

— Ты не хочешь взглянуть на Давида?

— На Давида хочу...

Аршалуйс посмотрела на трубку, в которой послышались короткие гудки. «Прервалась связь времен» — улыбнулась она, чувствуя облегчение. Она спокойно подошла к книжной полке, достала горьковский сборник армянской литературы и начала читать вслух подчеркнутые места из предисловия Давида Анануна.

«...Народ армянский и в действительности считал себя в рабстве, был совершенно обезличен, и тоска по свободе посещала его лишь в форме религиозного утешения в предвидении будущей загробной жизни. Победители, однако, не ограничивались немилосердной эксплуатацией: они прилагали все усилия к тому, чтобы лишить народ своих собственных защитников и предводителей. И они систематически стали искоренять армянскую знать, армянское дворянство, явившееся в Средние века главой народа и единственным еще воинственным элементом. Создалось положение, при котором армянской знати пришлось выбирать между отречением от отечества и веры, сулившими всяческие материальные блага, — с одной стороны, и смертью или изгнанием — с другой. В качестве иллюстрации припомним, как в 706 году арабский правитель Армении обманом пригласил в Нахичеван (ныне Старая Нахичевань) 800 армянских нахараров (так назывались в древности и отчасти в

Средние века армянские феодальные князья) и, заперев их в церкви, поджег ее».

Время ответило на главный вопрос, поставленный перед историей Давидом Анануном и Максимом Горьким, который предложил армянскому публицисту написать предисловие к «Антологии армянской прозы»: «Армяне — сырый народ. Сырый и одинокий. Количественно он малочислен, а беспощадная история постоянно гасит его творческий дух, не позволяя ему окрылиться и воспрянуть. Гонимый судьбою, он плетется по своему историческому пути, хочет и пробует подняться из праха и стать хозяином своей судьбы, но окружающие условия всякий раз оказываются сильнее его коллективной воли...»

Теперь уже мы знаем, что армяне — не сырый народ. Не сырый и не одинокий. И знаем, куда лежит его путь. Знаем и то, что червь точит его изнутри. Убили, к счастью, в себе раба. Поднялись с колен.

Аршалуйс не могла скрыть радости, когда высоко в горах услышала от одного старика: не было, нет и не может быть в армянском языке худого слова, которым можно обозвать грузина... И старик уверил ее, что у грузин тоже нет такого слова, которым они могли бы обидеть армян. Не для того выжили эти два народа, пройдя сквозь неисчислимые мытарства, чтобы оскорбить друг друга худым словом. И пусть, добавил старик, тот, у кого появится желание сказать дурное слово по отношению к брату, пусть оно умрет, не родившись из уст мертвеца... Так мог размышлять только свободный человек, избавившийся от рабства.

В то раннее утро Рузанна Аршаковна, проезжая по проспекту Саят-Нова, увидела из большого окна автобуса толпу на перекрестке Терьяна. Водитель автобуса, высунувшись из окна, спросил у прохожих, в чем дело. Оказалось, две легковые машины врезались друг в друга, лоб в лоб, и обоих водителей увезли в больницу. За одно мгновение водитель автобуса выудил такую информацию, что ее хватило бы на целый рапорт. Он стал комментировать в микрофон. Ехали два «Жигуленка» с нормальной скоростью, не больше сорока-пятидесяти. В одной машине был работник милиции, в другой — врач. Обоих повезли в больницу в одной и той же машине...

Не успела Рузанна Аршаковна войти в клинику, как узнала, что доцент Самвел попал в аварию. Многие говорили не «в аварию» или «не потерпел аварию», а «попал под аварию».

Поразилась она и тому, что почти все сотрудники знали о подробностях аварии, ведь всего десять минут прошло, как Рузанна Аршаковна собственными глазами увидела место столкновения. Когда автобус подъезжал к перекрестку Саят-Новы и Терьяна, слышен был удаляющийся вой сирены «Скорой помощи». То есть происшедшее случилось минут пятнадцать назад.

Рузанна Аршаковна никому не сказала, что видела аварию. Надев халат, она взяла тонометр, нащупала в кармане фонендоскоп и направилась в палату Бадунца и Тонояна.

Не успела она переступить через порог, как Тоноян спросил:

— Что слышно об аварии, Рузанна Аршаковна?

— Я вижу, вы тут больше моего знаете.

— Только что больницу облетела весть, что доцент...

— Откуда ты знаешь, что с доцентом? — вмешался в разговор Бадунц.

— Кто-то позвонил, — пояснил Тоноян.

— Кто позвонил?

— Понятия не имею.

— Ладно, — сказала Рузанна Аршаковна, — начнем обход.

Кто первый?

— Первый у нас всегда Бадунц, — вставил Тоноян. — Он во всем первый.

— Как это во всем? — не скрывая обиды, спросил Бадунц.

— Потому и такой худой, что хочешь всегда быть первым.

— Начинается, — улыбнулась Рузанна Аршаковна, накладывая манжетку Тонояну. — Вы хоть раз говорили друг другу ласковые слова?

— Что вы, Рузанна Аршаковна! Неужели хотите, чтобы над Ереваном пронесся ураган, чтобы град побил все посевы, а молния поразила всех нас.

— И неужели до конца жизни будете подтрунивать, грубить?

— Это он, Рузанна Аршаковна, от любви, — сказал Тоноян. — Жить без меня не может.

— Да, если хочешь знать, лучше бы скорее умереть, чтобы только избавиться от тебя, — отозвался Бадунц.

— Ничего не получится. Я и на том свете тебя не оставлю в покое. Да и не умрешь ты, как я погляжу.

— Это почему? — громко спросил Бадунц.

— Вот посмотрите, Рузанна Аршаковна. Псих ненормальный. Обижается, когда ему говорят, что он не умрет. Он и в этом деле хочет быть первым.

— Да перестаньте вы, мешаете. Болтуны несусветные. Никак не измерю давление, — рассердилась Рузанна Аршаковна.

— Скажите, Рузанна Аршаковна, пока я здесь, хоть раз было у меня давление?

— Давление у всех людей бывает, — пояснила лечащий врач.

— У всех нормальных людей, — добавил Бадунц.

— Я не понимаю, что вы хотите этим сказать? — спросил Тоноян.

— Давление бывает у всех. А вы, наверно, имели в виду повышенное или пониженное давление? — сказала Рузанна Аршаковна.

— Пусть будет так. И все же, хоть раз было оно у меня понижено или повышено?

— Нет, не было.

— А зачем же вы тратите на нас время?

— А вдруг давление подскочит.

— И что тогда?

— Тогда плохо. При вашей болезни высокое давление — это двойная беда.

— Смотрите на него, теперь он давление не хочет измерять. Другие умоляют, а этот не хочет, — сказал Бадунц, снимая больничную рубашку.

— Ну ладно! Хватит вам!

Рузанна Аршаковна осмотрела Бадунца, измерила ему давление, пульс. Потом стала медленно сворачивать манжетку тонометра, поглядывая то на одного, то на другого. За долгие недели она привыкла к этим так непохожим друг на друга мужчинам. Зная о неизменном исходе болезни для обоих, она задумалась. Трудно сказать, через сколько недель или даже месяцев, но кто-то из них действительно умрет первым.

— А хотите знать, — неожиданно бодро и громко нарушила врач наступившее молчание, — какая еще есть страшная болезнь на свете?

— Разве есть страшнее, чем наша? — спросил Бадунц.

— Конечно есть, — влез в разговор Тоноян. — А насморк? Бывает, насморк начнется — и весь мир тошен.

— Конечно все болезни — это плохо. Но есть страшные болезни.

— Что-то не то говорите, Рузанна Аршаковна, — сказал Бадунц, — я, например, готов поменяться с любой другой болезнью.



— Речь идет, — продолжала Рузанна Аршаковна, — о хроническом гломерулонефрите. Это — болезнь почек. И уж если хроническая, то, как правило, сдают обе почки. Человек постепенно самоотравляется. Вы время от времени страдаете от невыносимых болей. А там особых болей нет. Человек принимает горстями лекарства и тает на глазах. Такой больной постепенно начинает ненавидеть лечащих врачей. В организме накапливаются азотистые шлаки до таких величин, что остается единственное спасение — подключение больного к искусственной почке. Диализ называется. А еще точнее — гемодиализ. Делают прежде операцию на предплечье, выводят наружу сосуды. Потом подключают к аппарату на три, а иногда и на пять-шесть часов. Человек как бы привязан к этому аппарату. Без диализа он не может. В неделю два, а то и три раза надо подключаться к искусственной почке. Приходится идти на такие мучения, твердо зная, что диализ под конец начисто выводит из строя почки, в которых теплилась еще жизнь. Больной молится, чтобы не случилось землетрясения, не произошла авария на электростанции. Ведь аппарат должен работать в течение нескольких часов кряду и без остановки. Могу вам сказать, что эти больные — мужественные люди. И дольше живет тот, кто больше верит в себя. Вот такая бывает болезнь. Ну, отдыхайте, я пойду...

Рузанна Аршаковна перед тем, как закрыть за собой дверь, кивнула больным. Наступила тишина. Только через некоторое время хозяева палаты взялись молча заправлять постели.

— А я знаю, почему она нам рассказала, — заметил Бадунц.

— Много ты знаешь. Недаром кандидат наук.

— Я серьезно. Она хотела нас успокоить. Мол, бывает и хуже.

— Ну и что с того? Вытек глаз, а ты успокаиваешь себя тем, что по земле ходят тысячи несчастных слепцов.

— Ты опять за свое? Злой человек.

— Да что ты пристал! Тошнит уже от тебя. От всех тошнит. Я вон жалею, что доцент оказался в больнице. Это я его должен был изуродовать, а теперь даже душу отвести не смогу.

— Не пойму я тебя, Размик Арамович, что ты за человек? Все в тебе перемешано: и злость, и доброта. Как в одной посуде белые и черные тутовые ягоды. То слушал Рузанну Аршаковну разинув рот, то злишься неизвестно на что, то сам говоришь гадости о профессоре, а теперь жалеешь, что не прибил доцента, который написал на Аматуни. Лучше бы ты сам не делал пакостей...

— Давай, давай... Что тебе сказать?.. Ты... Ты искусственная почка, вот кто. Ничего не понимаешь? Ты же весь из книжек, а я из земли. И знаю твердо: если человек совершил, как ты говоришь, пакость, то он должен сам ее исправлять. А тут — авария. Доцент в больнице.

— Послушай, Размик Арамович, прекрати. Человек лежит весь в переломах. Никто не знает, чем это кончится. Смени пластинку. И вот что я тебе скажу...

— Ничего ты толкового мне не скажешь.

— Нет, скажу. Ты хотел только одного: чтобы тебя лечили хорошо. И не верил, что к тебе будут относиться хорошо, потому что давно вбил в голову: хорошо лечат, если заплатишь.

— А что, разве не так?

— К сожалению, и так. Но ведь ты не хотел сделать профессору плохо, когда говорил глупости доценту. Да и его можно понять...

— Как это можно понять?

— Очень просто. Понять, и всё, как понимают людей, как понимают, например, преступника. Когда человек ворует кусок хлеба, то надо обвинять не только его, но и тех, кто создал невыносимые условия для него.

— Так что ж, по-твоему, не наказывать вора?

— Наказывать. Но наказывать не только вора. Наказывать надо и тех, кто вынудил человека воровать хлеб.

— Не пойму я тебя. Уж не голодал ли твой доцент?

— Во-первых, он не мой, а, если хочешь, твой. Я невзлюбил его с самого начала...

— А сейчас вроде оправдываешь.

— Да не его я оправдываю. И не в нем дело. Он ничем не отличается от того самого голодного вора. Он в отчаянии, как тот голодный. Видит, годы идут, а он топчется на месте. Чувствует в себе талант, а талант его чахнет в тени славы профессора.

— Что же теперь, всех своих учителей, всех мастеров да наставников столкнуть под откос и занять их места? Два человека не могут поместиться на одном стуле. И если даже поместятся, то долго не усидят вместе.

— В том-то и дело, что у каждого должно быть свое место. И каждый должен знать свое место. Но случается, человек чувствует в себе силы и талант, а ему говорят: сиди и знай свое место. А годы идут. Представь, если бы доцент по природе был очень талантливый человек, даже гений, а профессор, как это нынче нередко бывает, бездарью. Молча ждать, пока умрет

твой мастер или наставник? Годы-то идут. В таких ситуациях в человеке пробуждается все мерзкое. Подержи любого человека недельку-другую голодным и посмотри, что он будет вытворять. Проснутся все инстинкты, которые заложены в каждом хищнике. Доцент должен знать, что низость его не просто наказуема, но и не принесет успеха. Тогда есть смысл. Каждый должен быть уверен, что анонимное письмо не будет нигде, ни на каком уровне рассматриваться. Никаких исключений. Ни при каких обстоятельствах.

— А зачем рассматривают, если все так просто?

— Не знаю. Знаю только, что творится глупость. Газеты печатают статьи против анонимщиков, не подозревая, что вызывают смех у нормальных людей.

— Почему? Я никогда не смеялся, прочитав статью об анонимщиках. Значит, я ненормальный, по-твоему?

— Ты, разумеется, ненормальный. Это я уже говорил. Но я о другом. Зачем тратить силы и средства, называть анонимки безнравственным явлением и в то же время в газетах продолжать рассматривать их. Жертвой становятся не только те, на кого доносят, но и сами клеветники. Не думаю, что им легко живется. Я не завидую, например, нашему доценту.

— Ну, ему теперь уже никто не завидует, — сказал Тоноян.

— Хватит о нем. Да и не по-человечески мы поступаем, понося сейчас человека, который сам страдает. Люди все разные. И надо помнить об этом всегда. Ты знаешь, например, что несколько лет назад профессору Аматауни предложили переехать в Москву. Ему там давали клинику. И он отказался. Ему говорили, что он идет на повышение, что там он быстрее и успешнее завершит свою работу. А он — ни в какую. Аматауни прежде всего думал о дочери. Она ведь школьница. У нее свои подруги, свой маленький огромный мир. Своя школа, свой Ереван, в котором она родилась, Арарат, который так хорошо виден из ее окна. Как же можно это отнять у девочки?! Я часто повторяю: не верю, что кто-либо может искренне думать о человечестве, если ему безразличен свой ребенок...

\* \* \*

Семьсот восемьдесят второй год до нашей эры. На карте земли нет еще Рима. Но на карте земли есть уже Арарат, с вершины которого по обе стороны, на север и на юг, хорошо обзревается Армянское нагорье, Армения. С вершины Библейской горы отчетливо виден и невысокий безымянный холм, на кото-

рый именно в семьсот восемьдесят втором году медленно взбирался в тяжелых доспехах царь Аргишти. Многого тогда не знал Аргишти, сын Менуа. Не знал, наверное, что в это время уже рзвзятся на Апеннинах Ромул и Рем, которые, напоенные молоком волчицы, мечтали построить Вечный город. Не знал, он, наверно, и того, что где-то относительно далеко и относительно близко от Безымянного холма, названного впоследствии Арин-Бердом, уже начались крупные градостроительные работы. Появились или вот-вот должны были появиться первые дома Вавилона и Дамаска. Не знал, думается, царствующий Аргишти, что абсолютное колебание годовой температуры места, которое он избрал под будущий город, составляет около восьмидесяти градусов, что, стоя на вершине Безымянного холма, он находится примерно на высоте тысячи метров над уровнем моря. Но зато твердо знал царь, что окрест всегда жили люди, которые нуждались в защите, как нуждалась в защите сама Армения. И тогда же, как мы уже знаем, на отшлифованной грани базальтовой плиты армянский каменотес вывел слова царя о том, что здесь возводится не просто город, а крепость. Или точнее — город-крепость Эребуни.

И сегодня можно пройти по архаичным мостовым хорошо сохранившегося Эребуни. И сегодня можно потрогать руками крепостные стены, на которые падала тень Аргишти I и Саркара II, Русы I и Аргишти II, Аршака I и Тиграна II. В разное время крепость называлась по-разному: Эребуни, Еревуни, Эривань, Ереван. И по-разному складывалась судьба города. Вчитываясь в его каменные и пергаментные страницы, Аршалуйс думала о том, что даже если город сравнивали с землей, огонь превращал камни в пепел, он всегда поднимался из руин как птица Феникс. Как бы армянин ни сетовал на свое географическое положение или на свою, я бы сказал, «несладкую геополитику», он все же благодарен тому месту на земле, на котором Бог разместил его родину. И он выжил благодаря, кроме всего прочего, и своей географии. Благодаря камням, каменным скалам и горам.

Аршалуйс шла по городу до Эребуни. Давнишний маршрут, который она облюбовала еще в те дни, когда двенадцатая столица Армении праздновала свое две тысячи семьсот пятидесятилетие. Как всегда, ей казалось, что она читает нетленные страницы книги, начатой царем Аргишти — сыном Менуа и продолженной другими сынами других отцов на протяжении долгих так похожих и не похожих друг на друга столетий. Ар-

шалуйс бродила по древней мостовой древней крепости и через какое-то время почувствовала, что и впрямь ходит не одна. Рядом с ней Аргишти, и она беседует с основателем будущего стольного города:

— А вы, ваше величество, не ошиблись, избрав место?

— Долго я искал его. И не один выбирал этот холм. Я держал совет с мудрицами.

— Вы должны были знать, что город может разрастись, и тогда тесно будет ему в котловине.

— Я должен был думать о защите моих подданных, на которых все чаще и чаще нападали непрощенные гости, вооруженные до зубов. Отсюда хорошо видны два небольших холмика, которые огибают речушка Мещамор. Я должен был строить крепость не только в удобном месте, но и в непосредственной близости от городища, в котором находился прославленный на всю округу металлургический центр. В двухстах плавильных печах, из которых поднимались вверх красные языки пламени, ковалось оружие против врага.

И сегодня можно увидеть печи древнейшей цивилизации, сохранившиеся изделия. Главным образом из медно-оловянной бронзы, чистой меди, свинца, золота. Отлично сохранившиеся стрелы, ножи, мечи, украшения, медные и серебряные монеты... Не на пустом месте вы воздвигли крепость, которая была задумана как щит и меч для стратегически важного региона великой Армении.

— Вы оказались пророком. Именно вокруг Эребуни впоследствии появились селения, без которых сегодня невозможно представить историю нашего народа, без которых наш народ не смог бы выжить: Звартноц и Гарни, Гегард и Кечарис, Хор Вирап и Эчмиадзин, шедевры Аштарака и Ошакана, Бюракана и Талина и многих других исторических поселений. Так что когда мы говорим, что трудно представить Армению и армянина без Еревана, то суть и смысл этого утверждения нами воспринимаются буквально. Чуть ли не все первые удары врага Ереван брал на себя. История человечества не знает другого такого примера, когда бы на протяжении менее двухсот лет город четырнадцать раз переходил из рук в руки. Такое было только с Ереваном. Каждый раз от города оставались лишь груды камней. И каждый раз оставшиеся в живых ереванцы строили город заново, клали камень на камень. Казалось, недостаточно было для одного города зверств вандалов, он страдал еще от необузданной стихии. То землетрясение

сравнивало его с землей, то наводнения уносили в мутных селевых потоках целые дома, слизывая подчистую улицы и кварталы.

Но город жил!..

Аршалуйс поведала основателю Еревана драматический рассказ о судьбе его детища. Будто в сказочной машине времени она побывала в прошлом, а теперь пригласила своего царственного собеседника в будущее посмотреть чудом сохранившийся рисунок, выполненный французским путешественником в начале семнадцатого века. На рисунке изображена панорама Еревана. Ровные улочки, симпатичные домики с плоскими крышами и сады, сады. Хорошо виден фон — Норкская возвышенность. Это голые каменные холмы, напоминающие дюны в пустыне. Трудно поверить, что именно на этом месте построена ставшая уже знаменитостью Еревана часть города, названная Норкским массивом, а еще точнее, Норкскими массивами.

— Как сложилась дальнейшая судьба города? — спросил Аргишти.

— На сохранившихся графических рисунках начала девятнадцатого века Ереван уже другой. К тому времени его много раз разрушали варвары. В сентябре 1827 года враг окончательно хотел сровнять с землей город, предвидя в нем могучую силу...

Аршалуйс с терпеливостью школьного учителя рассказала о новых страницах истории города. Она привела слова Хачатура Абовяна, написанные именно после событий 1827 года: «Казалось, вновь сыплются сера и огонь Содома и Гоморры. Ереванская крепость тлела, как пересохший фитиль: потрещит какой-нибудь час, потом угаснет, померкнет, — очень уж много пушечных ядер попало ей в голову и в сердце, вымотало душу».

Долго еще выматывали душу Еревану, пока не пришла пора истинного возрождения. Пока через двадцать семь веков после Аргишти не пришел в Эребуни волшебник по имени Александр Таманян. О нем поэт писал: «Этот человек, наверно, видел Город солнца». И когда в тридцатых годах двадцатого столетия окрест древнего Эребуни стали вырисовываться черты современного Еревана, многие современники не сомневались, что великий зодчий создал в камне и на камне Город солнца Кампанеллы.

Правда, не мог предположить солнечный зодчий, что его сказочное детище будет служить не только добру и свету. Так думала Аршалуйс Гукасян. Вольно или невольно город служил

и злу. Более ста армянских сел обезлюдели и вымерли только потому, что Эривань стала сказочным Ереваном. И теперь более полутора миллионов людей задыхаются от жажды и нехватки кислорода.

Аршалуйс знала из истории, что царь Аргишти казнил наместника Мецамора. И все же решила расспросить о том далеком событии самого царя.

«Я не мог не казнить его. В то утро ветер дул с Мецамора на Эрбуни. Жители города чувствовали не только необычный воздух, но и видели гарь».

«Это все шло из печей Мецамора?»

«Да».

«И вы казнили человека за то, что дым от печей доходил до города, в котором жил царь?»

«Не только царь, но и его подданные. Но казнил я наместника не за это. Я узнал: в Мецаморе умирали люди. Двести плавильных печей чадили жаром и гарью прямо на их жилища».

«Но ведь они ковали оружие для страны».

«А зачем стране оружие, если ее жители умирают от чада?»

«И вы запретили производство оружия?»

«Нет. Я казнил всего лишь одного человека и приказал воздвигнуть двести дымоходных труб...»

\* \* \*

Возвращаясь домой, Аршалуйс еще загодя по привычке нащупала в кармане ключ от почтового ящика. Какая пришла весть? Худая или добрая? В увесистой кипе газет и журналов она искала прежде всего письма. Давно еще Аршалуйс разделила письма на две, как сама выражалась, категории. Письма как гости. Одни званые, а другие — незваные. Обнаружив плотный конверт с предупредительной надписью: «Осторожно, фото!», Аршалуйс не решилась распечатать письмо тут же на месте. Знала, что в конверте находится фотография Давида Анануна и записка от Самвела, но настроение было слишком подавленным. Да еще глаза слезились. Она чувствовала, как воздух до боли ест глаза. Вначале ей казалось, что это от выхлопных газов автомобилей. Но у первого же памятника-родничка, промыв глаза чистой водой, поняла: автомобильные газы тут ни при чем. Прохожие тоже протирали глаза, а маленькие дети плакали навзрыд, не понимая, что чем больше они рыдают, тем сильнее соль и кислота разъедают глаза. Каучуковый завод опять выдал в атмосферу проклятый хлоропрен.

Народ расплачивается, рассуждала про себя Аршалуйс, за преступную слепоту тех руководителей, которые наивно полагали, что в наши дни внедрение вредной технологии не представляет большой опасности. Кто-то еще до войны сказал: прогресс без мудрости — это уже начало катастрофы. В конце концов, атомная бомба — тоже прогресс. Даже газовые камеры концлагерей и печи, в которых сжигали людей, — тоже, черт побери, плоды прогресса. Гитлеру докладывали, что сжигание людей предотвратит эпидемии инфекционных болезней. Ведь речь шла о миллионах... Не нужен человеку прогресс ради прогресса, как не нужен ему чистый кислород. Отравится. Воздух, которым мы дышим, это и есть кислород плюс мудрость. Все учтено природой. И учтено мудро. Свои ошибки природа всегда исправляет. И тогда уходят в небытие неповоротливые динозавры или мамонты. Природа лишена амбиции. И тем она прекрасна, мудра. Мы же стали рабами собственной амбиции. Если известно, что отходы каучукового завода убивают живой организм, — какие могут быть разговоры!

Кому нужна беллетристика, если современники пишут Аршалуйс о том, что у них дома нет воды, нет отопления? И если братья отвечать, то нужно говорить только правду. Не будет в Ереване никогда постоянно холодной и горячей воды. Ее нет в нужном количестве. Нельзя рассчитывать на Севан, который является последним родником страны. И нельзя в этом винить мужей города. Никто в этом не виноват. И в будущем никто не будет виноват. Виноват только тот, кто отнял у нас родину с морями, озерами, лесами, реками. Всего лишь несколько маломощных родников питают город ключевой водой. И они не вечны. И в них, мы знаем, нет больших запасов воды. Нет, и с этим надо считаться. Остается Севан. Озеро, которое стало жертвой все того же отсутствия мудрости. И теперь, чтобы ждать спасения от Севана, надо прежде спасти его от гибели.

Нет воды, а дома строятся. Нет природного газа, а дома строятся. Действует домостроительный комбинат, нужно обеспечить фронт работ. А в это время в селах и деревнях не хватает строительных материалов. Иногда хочется кричать на весь Ереван. Государство бесплатно строит для людей дома. Но оно не требует, чтобы строили там, где нет дорог и не будет, нет воды и не будет, нет даже воздуха и не будет. Не государство виновато в том, что постепенно так называемые престижные места города, постепенно пустеющие квартиры бывших руководителей, деятелей культуры и литературы, генералов, министров,



академиков всеми правдами и неправдами занимают дельцы, привнося в жизнь города привкус мещанства и делячества. И экологически неуправляемый город становится уже социально неуправляемым... Парализованная столица, придет час, парализует всю страну. И это все потому, что люди не боятся Страшного Суда. Думают, что это сказки.

Аршалуйс подумала о Давиде Анануне. Она взяла конверт, ножницами обрезала краешек, достала фотографию, вместе с которой наполовину вылезло сложенное вчетверо письмо. Щелчком отправила письмо обратно и стала рассматривать снимок.

Добрые умные глаза сильного человека. Волевое лицо. Острижен наголо. Одет в китель, модный в тридцатых годах. Аршалуйс подошла к полке с книгами, где были расставлены фотографии и поставила снимок на самом видном месте. Постояла перед портретом, и припомнились ей знаменитое предисловие к антологии, страстные статьи и очерки о литературе, о социологии, о революции, которой Ананун был предан до конца дней. Она не раз цитировала в своих статьях мысли, взятые из переписки Анануна и Гайка Балаяна, бывшего в тридцатых годах главой отдела народного образования или, как тогда говорили, наркомом просвещения Нагорного Карабаха. Из переписки видно, что два больших друга-единомышленника все время спорили. Спорили, не подозревая, что скорее дополняют друг друга, нежели отрицают. Тон переписки был шуточный. Давид любил в письмах приводить поговорки, пословицы, Гайк непременно старался «прочитывать» их по-своему, желая показать, что они вовсе не догма. «Когда я слышу о том, что яблоко от яблони падает недалеко, — писал Гайк, — то непременно хочется добавить, что деревья растут и на крутом склоне. Не согласен я с тобой, Давид-джан. Две тысячи с гаком лет повторяют люди, что о мертвом говорят или хорошо, или ничего. Но ведь «ничего» — это тоже «плохо». А раз так, то не надо говорить ни то, ни другое. Даже о мертвом говорить надо только правду». Многие свои статьи Давид обговаривал в письмах с другом. Последнее письмо, которое передал Аршалуйс племянник Давида Анануна Мовсес Ерицян, она помнила наизусть:

«Дорогой Гайк! Знал, что письмо из твоей тайги дойдет не скоро, спешу тебе сообщить, что трое твоих сыновей живы и здоровы. А это главное. Все остальное перемелется — мука будет. Меня по-прежнему беспокоит положение наших сел и деревень. Чахнут они на глазах. И самое удивительное то, что все

мы, подавшись в город, первое, что делаем, — это осуждаем тех, кто остался в деревне. Вместо того чтобы поклониться им, мы еще упрекаем, мол, смотри, какая грязь у деревенского родника, мол, мост, который в прошлом году снесло селом, до сих пор не восстановлен. Из деревни уезжают в город потому, что люди думают: курицы в городе несут страусиные яйца. Но не только такая наивность является причиной опустошения сел. Недавно из Мецшена уехал мой родственник. Приехал он в Ереван и рассказывает. Год мучился. Подвел воду к своему селу. Осталась самая малость. Кто-то написал письмо, конечно, анонимное, и в нем говорилось, что родственник мой заинтересован в том, чтобы воду провести поближе к селу. Заинтересован потому, что дом его находится на отшибе, дальше всех от родника. И что ты думаешь? Так и остался неоконченным водопровод. Недавно, дорогой Гайк, меня чихвостили на одном собрании по поводу моей статьи, написанной еще в шестнадцатом году о поэзии Средневековья. Очень старался один тип, пришивая мне всякие там ярлыки, о которых и говорить не хочется. Пришел я опустошенный в пустую мою комнату, которую занимаю у одной старухи. Сел за стол. Подумал о тебе. Ты всегда издеваешься над моей слабостью использовать всякие там поговорки, изречения, а сам того не знаешь, как много их можно найти в твоих письмах. Решил я написать статью о том упомянутом собрании и привести эпиграфом слова Гейне, которые я обнаружил в твоём последнем письме: “Успокойтесь! Я люблю отечество не меньше, чем вы”... Не знаю, когда теперь поеду в Мецшен. Остался неоконченным там камин, который начал строить в отцовском доме. Это страшно, когда тебе не позволяют достроить очаг в родительском доме...»

Несколько раз в тот вечер Аршалуйс переводила взгляд на портрет Давида Анануна и всякий раз с благодарностью думала о Самвеле. До самого утра она ворочалась в постели, тщетно пытаясь уснуть. Непокойно было на душе. Какой-то страх не отпускал ее. Тело окутала тревога. Все вроде бы нормально. С сестрами, слава Богу, все в порядке. У каждой крепкая семья. Дома достаток, дети здоровы. Мужья дружат друг с другом, как родные братья. Откуда же страх? Да и у самой более или менее порядок — грешно гневить Бога. Не сегодня завтра выйдет «сигнал» книги. Другая — в плане. Никто в последнее время пакостей не делал, дурных вестей не получала. Но тревога глодала. Словно по вине Аршалуйс могла произойти беда...

Не выдержав пытки бессонницы, Аршалуйс решила среди ночи выйти на улицу. Воздух был свежий, морозный. Светились витрины многочисленных магазинов, которые всеми своими красками напоминали о приближении Нового года. Она шла к площади Ленина, единственная прохожая на обычно очень людной улице Абовяна. Звезды казались невероятно большими. Такими она их не видела никогда. Чистым и темным было небо и слишком светлыми звезды. Вспомнила, как в своем журнале редактировала статью астрофизика Гурзадяна. Редактор дал ей подготовить к печати статью о космосе. И Аршалуйс, прочитав материал, подумала, как хорошо, что на свете есть звезды и есть гурзадяны. Запомнила слова ученого, что в конечном счете человек — это космическое тело. И со всеми другими космическими телами он имеет в галактике одинаковые права. Одинаковая химическая структура у звезд и у человека. А разница самая ничтожная. Человек — звезда. Звезда — человек.

Аршалуйс не заметила, как оказалась на площади Ленина. В самом центре накануне установили огромную елку. Подошла поближе, рассмотрела. И обрадовалась, поняв, что гигантское дерево собрано из множества маленьких елок и веточек. Обошла еще не украшенную новогоднюю красавицу. «Четыре дня осталось до Нового года, — подумала она, — всего четыре дня. Еще четыре дня. Как мало осталось и как много! Вечность и миг. Одни могут проспать незаметно, другие — сделать открытие, которое спасет человечество от зла...» Аршалуйс невольно вспомнила профессора Аматауни. Он ей говорил, что непременно закончит свою работу к тридцать первому декабря. Если он обещал, значит завершит работу. Работу, которую ждут сотни тысяч умирающих людей на всей земле. Осталось три дня. Аршалуйс Гукасян знала о сроке, когда наступит конец мучениям. По формуле Аматауни врачи определяют даты смерти при этом заболевании. Профессор обещал закончить работу непременно к тридцать первому декабря. Это последний день... Ей вдруг захотелось подойти к дому, где живет профессор, пройти под его окнами. Аршалуйс была уверена, что в миллионном Ереване сейчас в пять утра горят только окна хлебозаводов и окно Аматауни, которое выходит на проспект Ленина.

Чуть выше Института матери и ребенка, по ту сторону проспекта находился дом, в котором жил Аматауни. Еще издали Аршалуйс увидела одинокое светлое окно. Сомнений не могло быть: это окно профессорского кабинета. Решила перейти про-

спект не по переходу. Чего мудрить в шесть часов утра, когда не видно даже одиноких прохожих, а не то что машин? Минут пять простояла Аршалуйс под окном, свет от которого отражался напротив в огромных стеклах молочного магазина, и зашагала в сторону оперного театра.

Стали появляться первые прохожие. То из одного подъезда выходил человек, то из другого. Дойдя до улицы Саят-Нова, Аршалуйс повернула направо. Морозный воздух слегка обжигал лицо, ей не было холодно. Все больше и больше прохожих становилось на улице, чаще и чаще слышался шум машин. Аршалуйс остановилась у стеклянных стен детской картинной галереи. Разглядывая замысловатые работы детей, выставленные за витринными стеклами, она поймала себя на мысли, что думает не о картинах малышей, а о профессоре Амадуни. Наступил новый день. Это значит, прошел еще один день. Осталось совсем мало. Амадуни сказал: тридцать первого. Неужели по его формуле можно определить и час? Неужели сознание до конца, до последней секунды не оставляет человека? Тогда он невольно будет считать часы. Потом минуты. Потом секунды...

В девятом часу утра Аршалуйс зашла к себе в квартиру. Поставив чай, подошла к письменному столу, на котором лежали исписанные неразборчивым почерком листы бумаги. Если работа не тянула к себе, не притягивала, ухватившись за плечи цепкими клещами, значит что-то в ней не то, значит душа не лежит. Не могла Аршалуйс сегодня сесть за стол, соблюдая свой железный принцип, и написать хотя бы страницу, хотя бы строку. Она знала, что не сядет за стол. Даже чай с завалившейся конфеткой выпила стоя. Наспех убрав со стола — тоже принцип, — она выскочила из дома.

Когда Аршалуйс вошла к себе в кабинет, было десять минут десятого. Так рано она никогда не приходила в редакцию. Работа началась в десять. Сама могла приходиться и к полудню. Теперь она знала, что погнало ее этой ночью гулять по городу. Ей хотелось узнать только об одном: жив ли профессор. Накануне она упустила самое, может, важное: не предупредила Воскерчяна, чтобы тот не говорил с профессором. После визита журналистки он был, конечно, напуган. И не исключено, что ему бы захотелось сыграть роль эдакого доброго малого. Позвонить профессору и сказать, мол, не волнуйся, старина, не обращай внимания...

Аршалуйс вновь посмотрела на часы, решила позвонить Воскерчяну. Телефон был занят. Недоброе предчувствие охва-

тило ее. Попробовала еще раз набрать номер, но телефон ответил короткими гудками. «А вдруг именно сейчас он звонит профессору?» — подумала Аршалуйс. И, не мешкая, позвонила Амадуни. Телефон был занят. Аршалуйс непрерывно звонила то одному, то другому. Чувствуя, как нарастает в душе беспокойство, она выскочила из кабинета.

...До дома Амадуни Аршалуйс добиралась на такси. Поднялась на второй этаж, нажала на звонок. Никто не открывал. Она толкнула плечом — дверь открылась. Следовало бы предупредить маленькую хозяйку. Дверь нельзя оставлять открытой на ночь. Отец всегда занят, да он и не вспомнит об этом. А вот у дочери должна выработаться привычка. Сделав два-три шага по коридору, Аршалуйс услышала детский плач. В приоткрытую дверь кабинета она увидела у письменного стола сидящую на полу девочку в ночной рубашке. Она сидела рядом с лежащим на полу отцом. Девочка тихо плакала и гладила отца по волосам. С края стола свисала телефонная трубка. Четко были слышны короткие гудки.

Аршалуйс молча села рядом с девочкой, прижала ее к себе. Кнарик приняла ласку, продолжая гладить волосы отца.

— Вставай, Кнарик-джан, — едва слышно сказала Аршалуйс, — ты простынешь. Холодно очень.

— Я все слышала. Я не спала, — всхлипывала Кнарик.

— Хорошо, хорошо. Вставай.

Но девочка не хотела вставать. Аршалуйс не смогла даже силой поднять ее. Она сняла со спинки стула клетчатую шаль и накинула на худенькие, вздрагивающие от каждого всхлипа плечи девочки.

— Я часто видела во сне, как умирает папа, и очень испугалась. Я слышала, как он упал. Говорил по телефону и упал...

— А о чем он говорил?

— Я не знаю. Он вначале удивился, сказал: когда это вы стали Михаилом Сергеевичем, вы же раньше были Мкртичем Саркисовичем?

— Ты так все помнишь?

— Я всегда хорошо запоминаю. Папа тоже удивлялся.

— Что еще говорил отец по телефону?

— Больше слушал, а потом сказал: «Я очень занят и не могу, как вы говорите, подскочить к вам. И вообще, о чем нельзя говорить по телефону, нельзя, думаю, и в кабинете». — Девочка вновь начала всхлипывать.

— Успокойся, родная. Не надо. Давай помолчим.

— Потом отец закричал: «Какая еще анонимка? Нет, впервые слышу. А мне плевать! Собственно, почему вы говорите мне «ты»?» Больше он ничего не сказал. Я услышала грохот и прибежала. А он лежит вот так, как сейчас...

— Пойдем, родная... Пойдем, Кнарлик, оденешься. А я сейчас позвоню...

Девочка еще сильнее прижалась к Аршалуйс, не отрывая взгляда от осунувшегося пожелтевшего лица отца, продолжала теревить ему волосы.

— А вечером, — сказала она, — отец сел у моей кровати и стал рассказывать о том, как хорошо в лесу. Я просила его посидеть со мной еще. А он мне сказал: «Спи, чертенок, поздно уже!» Я спросила его, а почему он не спит? Папа посмотрел как-то весело. «Вот через два дня закончу одну работу и спасу много-много людей». Я спросила: «От чего спасешь?» Он немного подумал и ответил: «От боли. Сама говорила, что боль — это плохо. А сильная боль — очень плохо...»

Кнарлик замолчала. В наступившей тишине отчетливо были слышны частые гудки, доносившиеся из раскачивающейся телефонной трубки. Аршалуйс положила ее на рычаг. Сквозь наглухо закрытые окна в комнату проник уличный шум. Аршалуйс подошла к окну, стараясь сдержать слезы. Через заиндевелые стекла виднелся угол серого здания родильного дома. Под окнами, сутулясь и ежась от холода, курили молодые мужчины. В морозном воздухе появились первые редкие хлопья снега, которого так ждал профессор Амадуни...